

A historical map of East Asia and the South China Sea region, showing various geographical features, rivers, and coastal areas. The map is titled 'UANI' and 'D E L L A' and includes several sailing ships. The map is divided into three horizontal sections by black lines. The top section contains the author's name, the middle section contains the title, and the bottom section contains the translator's name. The map itself is a detailed illustration of the region, with various geographical features and sailing ships. The text is in Russian and is overlaid on the map.

ЯН ЯКОБ СЛАУЭРХОФ

# ЗАПРЕТНЫЙ КРАЙ

ПЕРЕВОД ОЛЬГИ ГРИШИНОЙ

Ян Я. Слауэрхоф

**Запретный край. Перевод  
Ольги Гришиной**

«Издательские решения»

**Слауэрхоф Я. Я.**

Запретный край. Перевод Ольги Гришиной / Я. Я. Слауэрхоф —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-830541-2

Романы Яна Якоба Слауэрхофа «Запретный край» (о португальском поэте Камозносе) и «Жизнь на земле» о судовом телеграфисте Кэмероне — это диалогия о фантастических приключениях в Китае. В них судьбы героев из разных эпох переплетаются, иногда смешиваются. Так что порой трудно понять, о ком идет речь.

ISBN 978-5-44-830541-2

© Слауэрхоф Я. Я.  
© Издательские решения

## Содержание

От переводчика	6
Запретный край	7
Пролог	7
I	7
II	10
III	10
IV	12
Глава первая	14
I	14
II	17
III	18
IV	21
Глава вторая	23
I	23
II	25
III	26
Глава третья	29
I	29
III	32
IV	34
Глава четвертая	38
I	38
II	41
III	43
IV	46
Глава пятая	48
I	48
II	50
III	52
IV	54
Глава шестая	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

**Запретный край**  
**Перевод Ольги Гришиной**  
**Ян Якоб Слауэрхоф**

© Ян Якоб Слауэрхоф, 2016

ISBN 978-5-4483-0541-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## От переводчика

Впервые я по-настоящему открыла для себя Яна Якоба Слауэрхофа (1898—1936) несколько лет назад. Слауэрхоф – поэт, писатель, судовой врач – по праву считается одним из ярчайших представителей нидерландской литературы первой трети прошлого столетия. Я много раз приступала к чтению его прозы, но всякий раз меня отпугивала ее сложность. Да, проза его нелегка, она изобилует архаизмами, непростыми оборотами; порой писатель использует слова, которых попросту нет в словаре. И, видимо, именно это обстоятельство делает ее столь очаровательной и незабываемой.

Но однажды я взяла в руки книгу – и была ошеломлена: это не просто хорошо, это фантастически прекрасно! «Запретный край», действие которого происходит в Португалии времен величайшего поэта Луиса Камоэнса, в старом Китае тех же времен и в Китае 20-х годов прошлого столетия, написан столь сочно, столь пряно, что от книги невозможно было оторваться. И вот книга состоялась, и продолжение этой книги: «Жизнь на земле». Писатель планировал создать трилогию, но не успел. «Последнее явление Камоэнса» литературоведы считают вставной главой или же послесловием к роману «Запретный край».

Камоэнсом Слауэрхоф был одержим; образ этого средневекового поэта неоднократно встречается в его лирике и прозе. Дух Камоэнса возникает и в романе «Жизнь на земле». Главный герой этой книги, судовой телеграфист Кэмерон – здесь он обретает конкретное имя – настолько тесно ассоциирует себя с ним, что порой перевоплощается в него. Книги написаны в манере мистического реализма, изобилуют описаниями опасных приключений Камоэнса и Кэмерона в Китае. Романы, безусловно, не могут претендовать на абсолютную правду: Слауэрхоф, великий фантазер, весьма вольно обращался с историей и географией. Истинные факты порой не соответствуют датам или вставлены для красного словца, некоторых местностей просто не существует в природе. Но ведь это, в конце концов, мистический реализм, а не строгое научное исследование.

Читатель, который заинтересуется конкретными биографическими данными автора, сможет легко отыскать их в Википедии. Нужно заметить, что в этом источнике «Запретный край» фигурирует под названием «Запретное королевство», что кажется мне не совсем верным: ведь в романе речь идет не только о Португалии, которая действительно была королевством, но и о Китае, который королевством не был. Китай был империей. И обе эти территории были запретными для Камоэнса. Запретной областью является для него также и его возлюбленная, Диана, предназначенная в жены португальскому инфанту.

Я уверена, что читатель и ценитель настоящей литературы получит большое наслаждение от этих книг.

В завершение хочу выразить мою глубокую признательность всем тем, кто принял участие в процессе издания книги: Вадиму Клейману за внимательную вычитку текста; Валерию Земских, Петру Осколкову, Евгению Жукову, Алексу Минцу, Анне Афанасьевой, Елене Пестеревой, Елене Самойленко, Валерию Вотрину, Александру Бирштейну, Александру Павлову, Дарье Суховой, Михаилу Мельникову – за добрые советы и реальную помощь; и многим, многим другим – за моральную поддержку.

*Ольга Гришина*

# Запретный край

*Посвящается Д<sup>1</sup>*

## Пролог

*Албину Форжас ди Сампайо<sup>2</sup>*

### I

В сентябре 1540, когда существованию Лиан По насчитывалось почти восемнадцать лет, к Северным Воротам прибыло императорское посольство, на стяге которого было начертано Небесное имя; между тем послы не имели при себе приветственных подарков и были облачены в синие траурные одеяния. Глава миссии потребовал доступа к губернатору Антонию Фарриа. Поскольку была ночь, миссию, сопровождаемую факелами и фонарями, препроводили через весь город на постоялый двор и, невзирая на нетерпеливое ворчание, лишь на следующее утро отвели к Фарриа, который, будучи осведомлен об их прибытии и облачении, ожидал их, восседавая на троне, одетый в латы.

Старейший из группы выступил вперед, не снимая скуфьи, и безразличным тоном произнес: «Лиан По будет разрушен, португальцы и их рабы станут под пыткой проклинать свое рождение, если их братья на Юге будут продолжать покорение Малакки».

Фарриа, не повышая голоса и не вставая с места, взял со столика свернутый в трубку пергамент, развернул карту Малакки и указал на красную линию, отрезавшую горло полуострова, показал через окно на реку, где корабли поднимали флаги и разворачивали штандарты. После этого он подал знак; ударил залп, которому ответили многие пушечные жерла, и над городом и рекой раздался победный клич. Миссия в закрытых паланкинах двинулась через ликующий город.

В конце года императорский флот в составе более чем тысячи парусов встал на рейд. На каждого португальца в Лиан По приходилось по кораблю. Разведчики сообщали о наступлении большой армии на расстоянии в три дневных перехода. Фарриа оставил Лиан По под управлением Переша Альвадру и пошел в наступление на джонки на тридцати своих стоявших в гавани судах. На шести из них он приказал установить крепостные пушки и длинноствольные орудия. Они обстреливали джонки, в то время как его флот медленно наступал на врага. Еще до того, как они встретились, сотни потонули. Внезапно поднялся береговой ветер, тяжелая артиллерия была сброшена в море и, быстро маневрируя, португальские каравеллы прорвались через врага, паля во всех направлениях. Но, наконец, к каждому кораблю пристали с десятков джонок, и сотни бойцов с кровавыми криками устремились на палубы, потрясая абордажными саблями. Гранаты с марсовых площадок, мушкетный огонь с ютов и штевней, кортики и копья уничтожали манчжуров как стаю саранчи.

Ночью сражение продолжилось при свете факелов; вооруженные шлюпки и стаи акул, этих гиен морской битвы, вступили в бой, оспаривая друг у друга истекающие кровью жертвы.

---

<sup>1</sup> Дарья Коллин (Maria Louisa Frederika (Darja) Collin, (1902—1967) – нидерландская танцовщица и балерина, жена Слауэрхофа, с которой он расстался в 1932 г. (*здесь и далее примеч. перев.*).

<sup>2</sup> Albino Maria Pereira Forjaz de Sampaio (1884—1949) – португальский писатель-биограф.

Факелы догорали, когда на берегу показалось огромное зарево. Широкая красная стена пламени медленно распространялась от горизонта к горизонту. Увидев это, Фарриа пришел в ярость и приказал своим кораблям собраться для решающего броска. Девять из них выстроились возле его судна, остальные не смогли выпутаться или были захвачены в плен.

Один за другим, непрерывно паля и тараня всё, что встречалось на пути, они проложили путь через китайский флот. Появившаяся на горизонте заря осветила спасающиеся бегством джонки, и четыре корабля, повернувшись к ним своими высокими кормами, взяли курс назад, на гавань. Но Лиан По уже исчез, густой чад висел над мертвенной тишиной груд мусора, оставшихся от рухнувших стен и обгоревших балок.

Фарриа направился туда, где когда-то был город. Улицы были почти полностью погребены под развалинами, но он нашел путь, по пути раскидывая шпагой мертвецов, – порой сразу два сплетенных в схватке тела – и, наконец, предстал перед руинами собственного дома. Он не осмелился перешагнуть порог. Была там его жена, погибшие в пламени дети, или?.. Опершись на шпагу, он подождал, когда к нему подойдут несколько солдат. «Ищите, – хрипло приказал он, – растаскивайте балки, очистите вход в подвал».

Он присел на каменную скамью, когда-то стоявшую перед маленьким прудом меж цветов и кустов. Шлемом он зачерпнул немного воды из каменной чаши и остудил голову. Пепел и сажа покрыли его волосы, но он не замечал этого. Кто-то положил к его ногам несколько почерневших шпаг и железный кувшин: только это еще можно было опознать.

Тогда Фарриа вошел в свой сгоревший дом и завернул в носовой платок горсть пепла.

Вечером четыре корабля, – всё, что осталось от первого поселения в Катае<sup>3</sup>, – отплыли на юг, тесно держась друг друга.

Маленькую флотилию окружали звезды, над ними, в черном небе – луна. На полукруге «Святой Девы» стояли Фарриа и Мендеш ди Пинту. Они пристально созерцали паруса, кильватер, время от времени меряли шагами палубу и вновь застывали в неподвижном молчании.

Над трапом в каюту горела лампа, мерцала медь абажура и бронза пушек; остальное было погружено во тьму – тьму двух одиночеств, тьму над парусами. Но постепенно темный корпус корабля окутали зеленоватые сумерки, сперва осветившие верхушки мачт, затем выхватившие нос корабля, где началось тихое бормотание, словно кто-то проснулся.

Наконец и высокую фигуру Фарриа, и маленькую Мендеша охватило сияние.

– Зеленый – цвет надежды, – сказал Фарриа без убеждения. Но Мендеш с ним не согласился.

– Это огни Святого Эльма, они означают несчастье, смерть. А что другое они могут означать? – Внезапно целый поток слов сорвался с уст маленького, тихого человечка, который сутками не издавал ни звука и не занимался ничем кроме того, что ходил от борта к борту, проверял пушки и пил, много пил. И молча ругался у фальшборта.

Наконец, его обида нашла выход.

– Всё, всё тщетно. Двадцать лет сражений, одиночества, переговоров с желтыми мерзавцами, терпение, мольбы о снаряжении, о войсках. Высокомерные письма от спекулянтов из Малакки, спесивые министры из Гоа, интересующиеся, зачем мы так далеко ищем, если пряности, сулящие наибольшую выгоду, можно погрузить в Малакке. Обиженные письма прелатов, интересующихся, когда Китай наконец-то будет обращен в христианскую веру. Письма Короля, почему его миссия получила скверный прием в Пекине, почему она не привезла подарков. Они не хотят ничего, кроме как сохранить имеющееся, подкупить врагов и самим бить баклуши в своих поместьях. В стороне от баснословнейшего богатства, в непрерывных схватках с наиболее коварными и безжалостными земными сатанинскими отродьями, мы предоставлены своему жребию на шатком посту, на который положили наши жизни. Теперь мы полу-

---

<sup>3</sup> Англизированное название Китая.

чаем заслуженную плату глупцов, наших женщин замучивают до смерти, наших детей сжигают заживо или похищают. Мы всё так же обездолены, как тридцать лет назад, когда отплывали из Тежу<sup>4</sup>, бедные дворяне, всё еще счастливые благословением кардинала и рыцарством, которое нам даровал Король.

Что ожидает нас по возвращении? Анафема за то, что мы сделались еретиками, королевская немилость, а то и темница. Подумайте о Колумбе, о да Гаме, о многих других. Куда идти? Плоды наших двадцатилетних усилий сожжены в одну ночь. Подадимся на неиспорченный остров. И там будем ожидать смерти. Или подкарауливать всё, что несет португальский флаг, и хоронить это в земле. Нет, лучше предпринять обратный рейс, обстреливать Малакку и Гоа и Лиссабон, до тех пор, пока не погибнем. Для чего мы рождены и для чего выросли?

Его черты казались пепельно-серыми в зеленоватом свете, руки крошили куски дерева, и трясущееся тело налегало на фальшборт. Тогда Фарриа, медленно и убедительно, как он всегда говорил, попытался вразумить подчиненного.

– Истинно так. В Малакке нас бы приняли с издевкой, торжествовали бы. В Гоа – подвергли бы допросу, почему мы не удержали города. Пять сотен солдат и тринадцать кораблей, военных из них – половина, это же непобедимая сила против величайшей империи! В Лиссабоне нас бы засадили в тюрьму. Я не боюсь, я рассуждаю так же, как и вы. Моя месть простирается дальше. Я вновь высажусь на берег, стану сражаться, вступать в переговоры, строить второй Лиан По, богаче и сильнее прежнего. Он затмит Малакку, пробудит алчность Гоа. Затем, если меня лишат моего поста, дабы уступить место одному из королевских бастардов, я подниму свой собственный стяг и с моим флотом и моей армией стану отстаивать свое творение, или уничтожу его собственными руками, если его будет невозможно удержать.

Мендеш печально покачал головой.

– Мы чересчур стары. На это уйдет слишком много времени. Годы, что мне еще остались, я хочу посвятить мести. Дайте мне копии этих писем, просьбы и приказы, которые мы писали о подкреплении, дайте высокомерные и унижительные ответы. Это будет мой ежедневный часослов. Из него стану я черпать мужество, если придется погибнуть в страшном одиночестве.

Фарриа понял, что решение Мендеша твердо.

– Знайте, что мои гавани всегда будут открыты для вас, даже если в них соберется весь португальский флот.

– Не говорите так. Никогда не говорите так, иначе весь наш мстительный план пойдет насмарку. Возможно, я буду тем, кто поможет вам.

Зеленый свет исчез, и оба забылись беспокойным сном на лавках кают.

Утром Фарриа дал ему, желающему идти собственным путем, пачку бумаг в ящике и свою церемониальную шпагу.

Корабли были приведены к ветру, курсировали шлюпки. Все, кто хотел разделить участь Мендеша, должны были перейти на борт «Пинты», самого маленького корабля, над которым теперь развевался черный флаг. Прибыв туда в полдень, Фарриа обнаружил Мендеша, мрачно стоявшего у фалрепа, а корабль был оснащен очень скудной командой.

Прощальные подарки были доставлены на борт; Фарриа и Мендеш долго пожимали друг другу руки. Потом прогремел приглушенный залп, и Мендеш отплыл на «Пинте».

О нем более никогда не слышали.

---

<sup>4</sup> Тежо (*порт.*) – крупнейшая река Пиренейского полуострова. Берёт начало на территории Испании (там она называется Тахо – Тахо) и впадает в Атлантический океан в районе Лиссабона.

## II

С тремя судами Фарриа направился к югу. На море, между землями Фудзянь и островом Формоза, где пересекались ветры из Азии и океанские, приближался тайфун, огромный ветер, рождающийся из союза многих ветров; он бушует над морем и швыряет его в небеса, сжимает воды и небо, скручивает их и вновь разрывает, и между тканью воздуха и воды уничтожает всё, что слишком приближается к этой сверхъестественной алхимии.

«Святая Дева» сумела еще просигналить другим, что место встречи будет в Нан Вэе<sup>5</sup>. Затем корабли были разъединены грядями облаков и туманом, на них накидывались вихри и валы, которые под беснующимся ливнем надвигались со всех сторон.

Фарриа стоял, привязанный к мачте, выкрикивая команды, но никто не внимал ему. Он никого не видел, только слышал несущиеся с разных сторон крики о помощи, визг разрываемого паруса, треск рей и всплеск, когда отвязавшаяся пушка падала в море. Под ним, в непроглядной черноте и тесноте каюты донна Милеш, единственная оставшаяся женщина Лиан По, стояла коленапреклоненная перед Богородицей Пеньянской. Порой ее швыряло к статуе. Не делало ли это мольбу горячее? Она взывала к Богу день и ночь. Жизнь ушла, взамен пришла молитва.

Пока утихали порывы ветра, свет упал в приоткрытую дверь, и Фарриа поднял ее с колен. Они объединились в кратком молении и продолжительном объятии, словно любви уцелевших более не было конца, смерть уступила место восторгам, или мягкому солнцу, светящему в иллюминатор сквозь пенистые, но вздыбленные волны.

## III

«Святая Дева» уже неделю стояла в ожидании на якоре в бухте Нан Вэя, за маленьким полуостровом. В конце концов «Коимбра» обогнула мыс; у нее уцелела одна мачта. «Рафаэль» так и не появился. Некоторые сочли, что этот корабль присоединился к Мендешу.

Оставшиеся на обломках корабля – более ничего «Коимбра» из себя не представляла – попросили переправки на большую «Святую Деву». Но Фарриа не хотел более терять ни одного корабля, а «Коимбра» с ее небольшой осадкой была незаменима для прибрежной разведки.

На пустынном берегу развернулась напряженная судостроительная кампания.

Фарриа, самолично поднявшись на мачту, чтобы посмотреть вслед уходящему «Рафаэлю», обнаружил на противоположном берегу заросли бамбука. Это обеспечило им реи и канаты.

Нан Вэй снабдил бы их водой и провизией. Но он лежал, недоступный, во внутренней области страны, за изгибом реки – полугород, полуфлот, хижины и дома на берегу, джонки, скученные настолько, что лишь полоска воды между ними оставалась свободной. Между землей и водным пространством стоял высокий серый дворец с золотыми статуями и витыми, сверкающими на солнце шпилями; красочные стяги извивались на балках ворот.

Там посольству предстояло со своими немногими подношениями искать помощи и съестных припасов.

Фарриа, зная, сколь желанным заложником он оказался бы, на это не отважился. Пошел Альвареш с тремя людьми из Лиан По – крещеными китайцами, и подарком – тканями и вином. Ничего другого у Фарриа не было. В письме он говорил о дружбе двух монархов, лишь потому столь удаленных от друга, что так далеко простирались их власть; он косвенно подчер-

---

<sup>5</sup> Вэйнань – городской округ в провинции Шэньси, Китай.

кивал службу, оказанную им в уничтожении пиратов, и обошел молчанием битву и падение Лиан По. В конце он взывал о помощи.

Альвареш вернулся через четыре дня, в одиночестве и без ответа. Мандарин принял подарки холодно, придя в ярость, когда обнаружил пятно на одном из ковров, прочел письмо и впал в еще бóльшую ярость, восславив императора как сына Поднебесной, принижая португальского правителя как незначительного вассала, данника жителя Небесной империи, который владел миром, как бы далеко не находилась от него Португалия. Он приказал им покинуть город и отвести корабли от берега.

Адмирал выслушал в молчании и приказал поднимать паруса. Но не для того, чтобы покинуть берег. Вечером «Святая Дева» и «Коимбра» встали милею ниже по течению от Нан Вэя и при свете луны обстреляли плавучую часть города. Вскоре там возникли большие бреши, и внезапно темная масса двинулась вверх по течению. Обе каравеллы спокойно заняли место тысячи джонок и забросали город огненными ракетами. Огонь вспыхнул в разных местах, и вскоре с быстротой молнии, с взрывами и шипением, расцвел ярчайшими красками радости: зеленый, алый, фиолетовый переплетались, прорываемые огненными змеями, крутящимися солнцами, затухающими звездами, изрыгающими огонь драконами и быстро гаснущими испанскими цветами.

Португальцы, сперва встревоженные, прекратили огонь и остались наблюдателями грандиозного фейерверка.

Офицеры припомнили ободрительные слова Фарриа в ответ на их возражения:

«Это не битва. Это праздник с иллюминацией. Жители Нан Вэя должны устроить нам пышную встречу, ибо сегодня 1 февраля».

Фарриа, просчитывая всё, использовал канун китайского Нового года для атаки, которая, начавшись, шла своим чередом.

Утром от Нан Вэя ничего не осталось.

Серый дворец на внешней стене стоял, сожженный дотла, на черном пепелище. Лиан По еще можно было узнать; Нан Вэй же был вытерт, словно черный сланец. Стройный и одинокий, возвышался дворец мандарина.

Они высадились: сотня солдат и два артиллерийских орудия, поливавшие беглым огнем крыши и окна; команда «Святой Девы» открыла прицельный огонь по воротам. В стороне ждал Фарриа с штурмовой колонной. Но после первого залпа ворота распахнулись.

Вооруженное полчище, завывая и корчась, хлынуло из ворот на высадившиеся войска. Немногие достигли цели; за несколько минут речной берег покрылся окровавленными телами и головами с косицами. Затем наступила тишина. Во дворце грянул мощный гонг. Фарриа знал, что за этим последует, и немного отступил.

Ворота изрыгали всё больше и больше воинов, и, наконец, посреди кавалерии, в колеснице, появился мандарин в цветастом военном облачении, воздевая огромный боевой меч.

Фарриа приказал пощадить мандарина в битве. И за считанные мгновения всё было кончено. Вновь тела покрыли землю, вдали спасались бегством разрозненные всадники, а мандарин сидел в своей карете; лошади пали.

Фарриа, приблизившись к нему, приставил к его груди кончик шпаги, но наткнулся на сопротивление металла. В нем поднялось темное подозрение, он откинул клинком одеяние и обнаружил древнюю кирасу.

Фарриа узнал ее. Разве не видел он своими глазами отплытия Переша, первого посланника в Пекин? О нем ничего не было известно, кроме того, что он был убит по дороге.

Фарриа приказал китайцу снять запачканное оружие. Мандарин указал на собравшуюся вокруг него толпу, и Фарриа, намеренно изобразив непонимание, подозвал четырех солдат, которые под громкие победные крики заставили мандарина выбраться из его похищенного каркаса. Сотрясаемый дрожью, стоял высокий наместник с дряблым влажным торсом

посреди осыпавших его насмешками чужестранных дьяволов. Фарриа отвел его к реке и приказал отмыть оскверненную его прикосновениями кирасу, отчистить ее и отскрести. Затем он позвал палача, огромного маньчжура, который с выпученными от удовольствия глазами подверг пыткам и предал затем смерти свою жертву по всем правилам искусства.

Затем состоялась другая церемония.

Фарриа поднял сверкающую теперь кирасу; солнечные лучи придавали ей дополнительный блеск. Он поклялся: «Я построю собор в моем новом городе. Эта кираса будет в нем единственной реликвией. Ее не заменят никакие святые мощи. Собор также станет защищать город от нападения и осады. Кираса будет свисать с крестового свода в нефе церкви».

Палач закончил свое дело, и тело правителя Нан Вэя повисло на бруске ворот его дворца.

## IV

Далеко на Юге, в удаленной области, хотя не более чем в двух днях пути от многомиллионного Кантона, в море вдается маленький ненаселенный полуостров. Окруженное камнями, на косе между глыбами скал стоит скупое позолоченное грубое святилище красного дерева. Никаких изящных статуэток или благовонных курений. В нише установлена примитивная каменная статуя огромного морского чудовища, чья распахнутая пасть угрожающе скалится на мирное лицо богини. На потолке висят маленькие грубо сработанные деревянные джонки и сампаны. На ступенях перед алтарем – сушеные рыбки.

Это – святилище А-Ма-О, повелительницы тайфунов. Все рыбаки и пираты поклоняются ей.

В самом удаленном конце полуострова стоит еще один камень. Это всё, что возвели здесь человеческие руки. Никто не помнит больше, какое племя дало богине святилище и жертвенный алтарь. На камне выбито имя и дата его воздвижения. Это – падрао, мемориальный камень, которым многие на африканских и малабарских побережьях знаменуют место первой высадки, но других таких в Китае нет. И это не только память об изыскании, и не надгробие. На нем написано: Здесь высадились Жоаким Феррейю, Падре и Тежу. A.D. 1527.

У него была весьма скромная цель: высушить на солнце свой груз, промокший от морских волн. Пряности и ткани были разложены на плоском сухом берегу, неподалеку от нескольких палаток, где укрывался он со своей командой, пока чинили его корабли.

Однажды утром палатки были окружены толпой китайских ратников. Посланный потребовал тысячу золотых за то, что они осквернили их землю, куда никогда еще не ступала нога ни одного чужестранца с большими глазами и длинными локонами. Феррейю уплатил и отчалил на своих наспех починенных кораблях с недосушенным грузом. Он знал, что останься он, на следующий день явится другой мандарин и потребует вдвое больше, уничтожив таким образом всю выручку от этого злосчастного предприятия.

Он наспех приказал воздвигнуть падрао, обозначив свое пребывание на этом бесплодном берегу. Китайцы не осмелились притронуться к камню, опасаясь гнездившегося в нем духа.

Двенадцать лет стоял грубый памятник в одиночестве на необитаемой полоске земли.

И вот вновь к берегу пристал корабль, не везущий никакого груза, кроме десятка иезуитов, направлявшихся с миссией в Пекин. Им тоже пришлось устранять на корабле неполадки, вызванные дизентерией. Трое из них умерли и были похоронены вокруг падрао, накрытые простыми надгробиями.

И в том месте был сооружен просторный причал.

Таким образом в незапамятные времена возникло запретное царство, принадлежавшее португальцам<sup>6</sup>, – из-за их мертвецов; до того, как к берегу пристал и высадился Фарриа, чтобы заложить там город, который он хотел сохранять и укреплять: от китайцев, для португальцев.

Казалось, что он достигнет заветной цели, ибо город был недоступен для врага; на самом узком месте береговой косы был небольшой форт, и трех сотен воинов было достаточно, чтобы отразить нападение тысяч. С краев место защищали группы островов и песчаные отмели.

Он построил несколько фортов и пакгаузов – церкви подразумевались сами собой.

Всё больше прибывало и уходило кораблей; Макао лежал в полпути от Малакки, Япония – на защищенной якорной стоянке, в то время как Лиан По был открыт штормовой стороне проливов Формозы. Но Фарриа умер, когда почувствовал себя вполне сильным, и Макао остался, также во времена слабости и упадка, почти целым: «*el mas leaf*», верен Королю, даже когда не осталось больше ни короля, ни Португалии.

Ни Пинту, ни Фарриа не отомстили. И способ, которым позже прибег к мести другой, рассматривался не как месть, но успех.

---

<sup>6</sup> Это португальское поселение называлось Porto do Nome de Deos.

## Глава первая

### I

Лиссабон, август 15..

Видит Бог, я избегал ее как только мог. Но Король этого не видел. Возможно, было бы лучше, если бы он видел. Он не знает и того, что в том, что случилось непростительное – его собственная вина. Она предназначена Инфанту. И хотя я любил ее, кровь моя не восставала против этого. Инфант, как многие королевские сыновья, – некто, с кем можно найти понимание, даже быть с ним на дружеской ноге и нимало при том не меняться. Словно они – государственные машины, а не люди. Та, которую я именую Дианой, могла стать его супругой, делить с ним трон и ложе, носить его детей и всё же оставаться Дианой.

А что же случилось бы со мной? Мы бы переживали глубокие страсти, ее бросало бы из одного чувства в иное, и через год-другой я больше не любил бы ее, ибо она не была бы уже той женщиной, которую я называл и буду называть Дианой, не только для того, чтобы не предать ее имя, но для того, что уже не должен был бы описывать ее для самого себя, не для того, чтобы мучить себя, пытаюсь вытеснить ее из моего сердца, в котором она живет, переплетенная с наипомнейшей тайной моего существования, в беспомощной попытке облачить ее жизнь в мое слово, которое может объять миры и моря, но не ее суть.

Позволю себе еще раз напомнить, чем обернулась бы ее жизнь. Уединение в забытом богом поместье, где она постепенно превращалась бы в вялую женщину, чья привлекательность потускнела бы из-за материнства и ежедневного сосуществования; я бы терзался страстным желанием увидеть дальние страны, в которых еще не бывал, и молча копил бы в себе ненависть к ней.

Но кто может победить страсть рассудком? Лишь те, в ком она подобна мимолетному весеннему ветру. Во мне она бушевала беспрерывно, словно пассат. Однако я боролся.

Всякий раз при встрече с нею борьба между запретом и страстью делали мой голос неуверенным, глаза блуждающими, поведение нерешительным. Исполненная гнева и разочарования, она отворачивалась от меня, и глаза Инфанта и его царственного родителя вспыхивали триумфом.

Тогда я улучил момент и оправился к Королю с просьбой дать мне корабль.

– Потом, когда ты станешь больше похож на завоевателя, нежели сейчас, я, возможно, предоставлю тебе должность.

Он более не опасался моего соперничества со своим сыном. С поклонами я удалился, скрывая ярость – король бросил мне вызов.

Что ж, ладно. Тогда не станем откладывать это поведение для дальних морей, а применим его здесь. Такова воля Его Величества.

Диана была подвержена моде, принесенной нам из Италии (поговорка красноречива: «от ветра из Испании добра не жди», но я бы хотел добавить: а от ветра из Италии – ничего, кроме зла): она писала стихи и хотела, чтобы ей посвящали поэмы. Что такое поэзия для народа, которому есть заняться кое-чем получше, нежели биться со строптивым размером; для народа, который веками теснился на узком клочке земли, сражался с мощью мавритан, испанцев и морей, чей язык, благодаря капризу природы, уже достаточно мелодичен! Его даже именуют языком цветов!

То, что женщины, не знающие иного занятия, нежели ткачество, перемежают его с вышиванием по канве языка, следуя примеру своих подруг в бесчисленных маленьких итальянских

монарших дворах, это еще ладно. Но то, что мужчины также предаются этому пустому занятию, тогда как существует столько земель, которые можно покорять, открывать, притом, что мавританцы угнездились неподалеку, на том берегу, это гораздо хуже.

Диана в то время держала литературный салон в собственном загородном поместье Санта Клара. Чтобы войти в этот круг, требовалось читать стихи.

Что правда, то правда – я ни разу не раскрывал рта (разве что зевнуть или ответить на ее вопрос), и всё же ее огромные зеленые глаза нередко останавливались на мне. Я восхищался ею издали – она была прекрасна, истинная принцесса, и испытывал отвращение к окружавшим ее льстивым рифмоплетам. Теперь же, когда я желал приблизиться к ней, мне надлежало следовать моде; я собрал все свои знания о поэзии, приобретенные в уединенном поместье моего отца, где чтение, письма и охота были единственными развлечениями, и написал сонет и пару редондилей<sup>7</sup>.

С ними в четверг, после полудня, получив отрицательный ответ короля, я отправился в Санта Клару.

Мое сообщение о том, что я тоже буду читать стихи, произвело сенсацию. С саркастической поспешностью окружавшие ее льстецы расступились, образовав круг, но Диана, устремив на меня взор, оставалась серьезной.

Я читал словно бы для нее одной, не слыша в тишине собственного голоса. По ее глазам я понял, что происходило: она восхищалась сонетом, но была поражена откровенной поспешностью и нескромным смятением редондилей: столь явно сквозило в них мое чувство к ней, к ней одной, чувство, скрытое для посторонних. Они бормотали слова одобрения, пересиливая себя; лишь она не произнесла ни слова, но часом позже вышла со мной на прогулку по двору Санта Клары. Светил тонкий, яркий месяц, но дневной свет всё еще лежал под листвою аллеи. Ее глаза были светлы и мягки, как лунный свет, ее близость – как солнце, нежнейшие ее персы вызывали ни с чем не сравнимый восторг.

Никогда с момента встречи с моей возлюбленной не ощущал я столь сильно присутствия женственности. Я более не думал о мифологии, хотя упомянул Эндимиона и Диану, не думал более о моем низком и ее высоком происхождении.

Мы были словно первозданные существа в чудесном саду, хотя шли спокойно и степенно рядом друг с другом, ибо знали, что из окон на нас таранился завистливый мир; один час мы были с ней: Луиш, Диана...

И за этот час...

Нет, цепь моих злоключений началась после этого часа, но проистекала не из него. Она началась при моем рождении. Ибо с первой минуты моей на этой земле звезды расположились неблагоприятнейшим образом, и не было поблизости доброй феи, чтобы смягчить мою участь. И эта любовь была еще одной вещью, отяготившей мою судьбу.

В следующий раз я приехал без стихов – мы не выходили во двор, но стояли в оконной нише. Другие женщины и мужчины избегали нас, пока мы были вместе.

Несколькими неделями позже Инфант бледнел, а глаза Дианы вспыхивали, когда я приближался к ней. Неужели прежде она презирала меня за сомнения? Не понимала? Я не помню, что говорил ей – ведь слова, видимо, ничего и не решали, но звук их – о да. Я постоянно пленял ее; Инфант же, напротив, заикался, краснел и лишь смеялся, и нас обоих это забавляло.

---

<sup>7</sup> Редондилья – род испанских и португальских старинных стихотворений, состоящих из строфы в 4, 6 и 8 сложных рифмованных строк.

Теперь мое завоевание этого запретного края столкнулось с тем, с чем моя добрая воля не справилась. Если бы я был мужчиной, созревшим в этом мире, а не молодчиком из деревни, я бы понял это раньше.

Однажды в полдень я стоял с Дианой в оконной нише; Инфант в центре зала раздраженно и рассеянно беседовал со своим камергером. Пожилая придворная дама, стоя у дверей, настойчиво и тщетно пыталась поймать его взгляд. Дверь внезапно распахнулась, нарушив ее игру. За мной явился оруженосец. Король призывал меня. Я последовал за посланным.

– Теперь мы можем исполнить твоё желание. «Эстрелла» готова к отплытию. На борту солдаты; ты чересчур молод для командования военным судном, но вполне сможешь повести отряд с испытанным капитаном – он будет помогать тебе советами. Готов ли ты?

Я притворился, что обдумываю его слова, склонив голову, преклонив колено.

– Ну так как же? – выдал свое нетерпение монарх.

Я ответил лишь тогда, когда полностью был готов.

– Благодарю ваше величество за внимание и милость. Я еще не приобрел доблестей, которые вы недавно сочли столь неотъемлемыми для командования. Кроме того, меня удерживает важное обстоятельство.

Я на мгновение остановился и, по-прежнему не поднимая головы, тайком бросил взгляд на чело монарха, которое наливалось гневом, пробужденным моею дерзостью.

– Если ты имеешь сказать, что... – Он не смог продолжить.

– Речь идет о моем отце. Он чувствует, что приходит его время, и призывает меня к себе, дабы я занялся делами наследования. Таким образом, я осмеливаюсь нижайше просить ваше величество разрешения удалиться от двора. Мой отец может скоро умереть: я его единственный наследник.

– Твой отец может еще долго протянуть.

– В таком случае я единственный, которого он в течение этого времени пожелает видеть у своего смертного одра.

Я лгал сознательно. Отец мой не знал ни минуты покоя в моем присутствии. Король был также осведомлен об этом, но официально отцам и сыновьям надлежало любить друг друга. Я продолжал, ибо король лишился дара речи:

– Я нижайше прошу ваше величество позволить мне отлучиться от двора. В понедельник отходит корабль на Тежу, на котором я смогу проделать большую часть пути.

– Разумеется, ты свободен ехать. Передай своему отцу заверения в нашем высочайшем расположении. Но что же после?

Он сделал жест, означавший примерно следующее: «Когда твой отец отойдет в мир иной, и тебе прискутит жизнь в обедневшем поместье?..»

Вот теперь Инфанту очень следовало опасаться моего соперничества.

– ... Тогда я стану нижайше просить ваше величество позволить мне снискать при вашем дворе добродетели царедворца и полководца.

– Первым ты не станешь никогда. Вторым ты уже являешься силою своего происхождения. Можешь отпрапляться. До того мы дозволяем тебе принять участие в завтрашней охоте. По твоему возвращению очередной корабль будет готов к отплытию. Однако мы не знаем, будет ли в твоём распоряжении воинское подразделение. Но на рекомендацию вице-короля Гоа ты рассчитывать можешь.

Таким образом, меня с почётом изгнали из Португалии, с отсрочкой из-за болезни моего отца. Аудиенция была окончена. Я хотел поцеловать руку короля, но лицо его налилось пурпуром, он не смог выдать из себя ничего, кроме «Ступай же!..» и судорожно указал на дверь.

Я не мог совладать с собой. Была ли это победа или поражение? Получил ли я то, чего жаждал больше всего: уехать как можно дальше, или же потерял то, что больше всего любил? В любом случае у меня имелось доказательство, что меня боятся. Каким бы наслаждением

ни было бесить ненавистного, надменного тирана, дразнить его, чтобы кровь бросалась ему в голову, уничтожая мозг, еще более повреждая его и без того слабый рассудок!

Я не любил Португалии, хотя и родился в ней. Страна это монотонная и угрюмая, как сама жизнь. Она цветет и пирует не так, как Италия и Франция; моя родина во всем, кроме мореходства, на последнем месте. И всё же мучительно было наблюдать, как этот тупой монарх со своим топорным разумом и деформированным телом высасывал ее, приближая ее конец, всё подчинил своей власти, оборачивал всё в свою выгоду: земледелие, промышленность, торговлю. В алчности и корыстолюбии с ним могли сравниться лишь прелаты и пираты.

Вечером я выпил с дежурными пажами, затем удалился к себе. Мне было немного не по себе, я думал только об охоте. Диана тоже будет там, я подам ей знак, и она отстанет от свиты, предшествующая убегающим оленем, туда, где я буду ждать ее. А там, после...

Свет падал через щель в окне, сквозь бутылку вина, на черный стол, на мои как бы отдельно лежащие на нем руки, словно только они знали, что случится с этой жизнью. Начался перелом. Вскоре, вместо пышного придворного одеяния – грубая кираса. Эти руки изменятся, мне придется многое позабыть, разучиться: как влюбить в себя придворную даму одними только взглядами, как выказать презрение к сопернику, затмевая его, и последним справедливым словом на долгие дни устранить его из дворцовых кругов. Забыть: Португалию, маленькую страну, которую можно проехать из конца в конец за три дня. А о Востоке, ожидающем меня, я не знал ничего, кроме смутных рассказов и острого запаха пряностей. Будет ли это таким чудом, как я думал? Я помню, как представлял себе Лиссабон – город золотых дворцов, солнечных праздничных дней и серебряных ночей. Это, конечно, красивый город, не меньше, но, прежде всего, и не больше.

Светало, и я вновь сделался мрачнее. Утром улыбка Дианы представлялась мне более желанной, нежели кругосветное путешествие. Но было слишком поздно. Я сыграл опасную игру на два великих жизненных интереса, делая ставки вслепую, блефуя, и слишком поздно заметил, что потерял то, за что только недавно мне пришлось судорожно бороться, и выиграл то, что мне было меньше по сердцу. Мысли мои вновь вдруг перескочили на охоту. Я буду преследовать ее, как оленя, до тех пор, пока она больше не сможет бежать от меня, пока не станет умолять о пощаде. Я уже знал, в каком месте это случится: у источника, где пришедшие к водопою животные ломают тростники, и куда не решаются приходить люди, которые боятся водяных духов, вздымающих туманные руки и затягивающих непрошенных гостей в омут, из которого нет спасения. И я буду при ней, когда она устрасится самого ужасного.

## II

Но, увидев в Диану в охотничьем выезде, недоступную, верхом, Камознс внезапно понял, что не она была дичью, на которую он мог бы охотиться, а что это он будет преследуем, даже если уедет на другой край света. Он осторожно подъехал к ней и попросил ее отклониться от общества и приехать к источнику фей и духов. Она ответила согласием. Он долго сидел один в ожидании, на поваленном дереве, наполовину погруженном в море, зачерпывая воду шляпой. Наконец, треск ломаемых ветвей, из зарослей выскочил олень, и вскоре Диана направила свою лошадь к месту, где он сидел; она опустила ногу на его скрещенные руки и спешила рядом с ним.

Вечером она вернулась с охоты одна; никаких рассказов о вывихнутой лодыжке или ложной дороге; да никто ее и не расспрашивал. Никогда ни в одном письме не намекала она на этот день, никогда он не вошел в хроники, как многие другие дни, в которые случалось меньше знаменательных происшествий – сожженный город, выигранное сражение. Ни один исповедник не выдал случившееся в этот день в своих мемуарах. Стены монастыря, сокрывшие ее

тело, оставленное Камознсом и отказавшее Инфанту, не обладали эхом, которое через столетия отозвалось бы словами, нашептанными этим камням.

Камознс отложил любовные песни: он принудил себя к строгим размерам грубого стиха, воспевающего грабительские набеги как героические деяния, и только от тягчайшей безысходности, сидя на опаленном камне у Красного моря, оплакивал он то, что потерял, намеренно сбежав от счастья в скитания. Возможно, только Лузиады – стихи, в многочисленные строки которых можно привнести слово, как длинные широкие волны приносят несколько досок, из которых затем потерпевший кораблекрушение построит дом на дальнем берегу. Но никто никогда не сложил этих слов вместе: Лузиады продолжают существовать, как монастырь, как остатки славы; и сквозь пазы, через бреши и щели всё же не видно, какая прекрасная и мучительная жизнь там заключена.

### III

Терпеливый, как покойник, сидел я на палубе корабля, ожидая, когда меня перевезут вверх по течению. День стоял хмурый. Разноцветье Лиссабона было приглушено туманом, который очень редко достигал устья Тежу. Это тянулось долго. Время от времени по мостику проходили люди или перекатывались бочки. Но вдруг широкая полоса воды открылась между берегом и рекой. Я видел отъезжающего рыцаря, я знал его в лицо: это был курьер, он должен сообщить, что я точно отплыл. Но кто помешал бы мне спрыгнуть в воду и достичь берега несколькими взмахами рук! Я не сделал этого, хотя это было просто. Знал ли я тогда, что позже мне придется совершить такой прыжок, чтобы переплыть расстояние в тысячи раз большее, и не ради спасения души, но тела и листка бумаги?

Когда я вновь поднял глаза, город был отдаленной картиной, только Беленская башня<sup>8</sup> возвышалась перед домами и над ними. Я опять погрузился в раздумья: дни после охоты были базальтовым берегом, мимо которого я проплывал, который я хотел обогнуть, чтобы узнать, где обрывалась моя жизнь. Но места обрыва я достичь не мог.

Над моей головой поднимали паруса. Я слышал трение железа по дереву, скрип канатов, хлопанье парусины. И вдруг:

– Скорбь тяготит тебя, сын мой? Всяк, кто отягощен, приходит ко мне. Это сказано для всех и для тебя тоже. Господь послал меня, облегчи свое сердце.

Я остался сидеть, пытаюсь угадать лицо говорившего. Голос был елейный и сдобный, с тягучими интонациями. Я ожидал увидеть морщины, красный нос и слезящиеся глаза, и мое негодование не уменьшилось, когда я понял, что ошибся. Это был молодой доминиканец с юным, румяным лицом и маленькими близорукими глазами за стеклами очков: один из стада, привлеченный гарантией черного одеяния ежегодно и доброй пищи трижды в день, из тех, что наполняют семинарии и там, кроме питания, пережевывают несколько догм; из тех, что готовы позже выплюнуть эти догмы на любого, кто окажется поблизости и чья вера не столь сильна.

Я не пошевелился. Приняв это за смирение, он продолжал, повысив голос:

– Господь направил меня! – И, подходя ближе: – Сверни с ложного пути, пока не поздно!

В нос мне ударил запах пота, и это заставило меня встать и ответить:

– Не просто так для обхождения с благородными основан орден, члены которого, возможно, чисты духом, но уж точно чисты телом и обладают ухоженными руками. Принадлежишь ли ты к оним? Когда в последний раз ты мылся?

---

<sup>8</sup> Torre de Belém – «башня Вифлеема» (*порт.*) – форт на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515—1521 гг. Франшику ди Аррудой в честь открытия Васко да Гамой морского пути в Индию и служила поочередно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможенной.

Это решило дело. Он попятился, бормоча что-то о Лукавом и о теле, которым нужно пренебрегать, и непрерывно крестясь. В полдень я видел его, бурно беседовавшего с несколькими купцами; целый день я наблюдал, как он расхаживает то с теми, то с этими. Я был уверен, что он настроил против меня всех спутников, однако мне это было безразлично, у меня была своя каюта, но спал я всё-таки в шлюпке на юте. На других я не обращал внимания; но от меня не укрылось, что многие исподтишка бросали на меня ядовитые взгляды. Ночью я видел звезды, днем – сухие берега, которые мы проплывали. На вторую ночь я вновь лежал на своем любимом месте: в шлюпке, висевшей под полуютом; я проснулся от шагов вниз-вверх и разговора, перемежавшегося продолжительным молчанием. К своему изумлению, я услышал, как преобладавший голос многократно с обидой упоминает имя Короля, что сопровождалось одобрителем ворчанием другого.

– ...Все подати себе забирает, колонии высасывает, всё спускает на войны да пирушки, а подданные помирай на гиблой земле; купцам развернуться не дает. Я предложил: треть от выручки – короне, а корабль мне оснастить – куда там; а ему что с той трети? Я ему втолковываю, что в двадцать раз больше кораблей, чем может оснастить государство, можно в дальние края отправить, да чиновников вороватых прогнать в шею, мы тогда лучше сможем против англичан и испанцев стоять, ведь напирают всё сильнее, потому как свободный торговец – это тебе не слабый взысканец, а сильный союзник. Так я действовал, но он уши упихал под корону, а мозги – в державу<sup>9</sup>.

Вновь одобрителем ворчание. Этот разговор понравился мне необычайно. Я выбрался из шлюпки на палубу. Двое захваченных врасплох купцов решили, что я придворный, который выдаст их Королю. Молчаливый сделал слабую попытку спасти болтуна:

– Не сердчайте на него, сударь. Вообще-то он добрый подданный, но потерпел много убытков и слишком много выпил вечером.

Я молчал.

– Простите ему. Если вы евреям задолжали...

Я покачал головой.

– А то долги какие сделаете, так мы вам их покроем.

Я не хотел вольно обходиться с властью, которую столь неожиданно приобрел над этими двумя людьми; власть, которой я на краткий момент обладал над Королем, я слишком быстро потерял; меня поразило услышанное – что старик, которым при дворе правили алкоголь, духовник и сыновья, мог закрывать гавани и запрещать судовладельцам оснащать корабли; еще я был удивлен тем, что эти двое, столь искусные в промысле, настолько позволили страху управлять собой, что даже не подумали просто отрицать то, в чем я, одиночка, смог бы обвинить их. Когда я был молод, я не сознавал власти благородного сословия, а потом, когда осознал, дворянство было утеряно для меня. Посему я счел нужным усладить одного и выслушать другого.

– Пусть тогда пойдет и проспится, завтра я снова с ним побеседую.

Виновный хотел что-то сказать, но его сотоварищ дал ему тычка, и тот ушел, покачиваясь в полузабытьи. Тогда я спросил второго:

– Отчего же ты не мог отплыть? Ведь устье Тежу не перегорожено цепями?

– Мы не набрали команды, сударь.

– Но я нередко слышал, как Король жаловался на повсеместное дезертирство в армии и на флоте.

Купец продолжал отделяться уклончивыми ответами, но, когда я заверил его в том, что не заведу тяжбы против него, поведал, что торговля заморскими товарами, корабли – всё – есть собственность короля, что его советники устанавливают цены, что все суда осматриваются на предмет того, не имеют ли члены команды или пассажиры собственных торговых сно-

---

<sup>9</sup> Имеется в виду символ государственной власти монарха.

шений. Жителям сделалось невозможно что-либо предпринимать самостоятельно. В Португалии купец стоял почти наравне с мавром или евреем. С большим удовлетворением я слушал его. Дух сопротивления будет нарастать, собираться под престолом, как некий взрывчатый газ, и потом взметнет его в воздух и разнесет на куски.

– Если вы или батюшка ваш люди влиятельные, – заключил купец, – пустите эту власть вашу на благо торговли и, стало быть, отечества.

Я усмехнулся про себя. Так говорили они все: священники о своей церкви, офицеры об армии и торговый люд о своем деле: как о самом святом. Я поблагодарил его за услышанное.

– С твоим приятелем беды не случится. Я только хочу, чтобы во искупление он завтра наподдал этому святоше и опрокинул на него ведро воды.

Купец взглянул на меня с ужасом и вновь принялся спрашивать, не в долгах ли я.

– Напротив; этот потный патер кое-что должен мне, и я тоже хочу позаботиться о том, чтобы долг был уплачен. Немного свежей воды ему не повредит, он слишком редко имеет с ней дело.

На следующее утро находившиеся на борту наслаждались совершенно неожиданным происшествием. Добродушный купец подступил к ничего не подозревавшему, бубнящему часослов святоше, схватил ведро воды и опрокинул его тому на голову. Сутана облепила его тело, кругом посыпались насмешки.

А в полдень судно достигло Абрантиша<sup>10</sup>, откуда оставался шестичасовой переход до конечной цели. Я покинул эти края два года назад.

Была почти ночь, когда я въехал в парк; деревья и их тени сливались в одну черную массу, лебеди спали в пруду. Вокруг него стояли молчаливые белые фигуры: боги и богини, которых я в детстве забрасывал камнями; я ненавидел их, поскольку они символизировали добродетели и заповеди. С ранней юности я восставал против культуры, которую желали мне привить и которая давила на меня со всех сторон. У меня было предчувствие, что она делает меня пессимистом, склонным к страданию, и это стало бы манить меня в скудно рассеянные по свету места, где оно процветало. Это сделалось бы моей судьбой – легко и беззаботно пуститься в странствия, ожесточиться и затосковать по дому; после власти любви этой власти я страшился более всего. Христианство никогда не трогало меня; я слишком рано узнал, какие зверства вынесли сарадины от этих «смирненников»; таким образом до моих шестнадцати лет я оставался мальчишкой, который не желал ходить в церковь, смеялся в лицо духовнику, швырялся камнями в лакеев и выдергивал в парке цветы. Ночами я нередко выбирался из окна, бродил по лесу и душил голыми руками зазевавшихся зверушек.

Однажды, осенним днем, дождь шел как из ведра; я не мог усидеть в доме и укрылся в беседке на краю парка. Там лежала книга. Я просидел в беседке весь этот ненастный день, но не глядел на книгу. Наконец, презирая себя, я открыл ее. Стихи захватили меня, и я ощутил изумление и блаженство, которые отняла темнота. У меня появилась слабость, которую я скрывал и от коей надеялся излечиться, но продолжал читать и вот, наконец, стал писать ночами, в глубочайшей тайне; днем же я сам не мог в это поверить. К картинам и статуям я питал всё такую же ненависть, и мой варварский вкус безмерно огорчал моего отца.

Однажды днем, читая в беседке *Одиссею*, я почувствовал его руку на своем затылке; я посмотрел ему в лицо: оно было озарено счастьем.

– Я читаю это потому, что тут рассказывается о чужих странах, только поэтому.

Но его лицо сохраняло прежнее выражение; он достал из кармана несколько листов бумаги, и я узнал собственный почерк. В ярости я оттолкнул его и убежал. Целый день, словно дикий кот, просидел я в лесу, клянясь, что никогда больше писать не буду. И всё же неделю спустя я вновь принялся за стихи. Я пытался утешать себя: скульпторы и художники не могут

---

<sup>10</sup> Abrantes (*порт.*) – город в Португалии, центр одноименного муниципалитета в составе округа Сантарен.

свободно странствовать, они должны работать в поте лица у себя в мастерских, но я, невзирая на свою слабость, могу всё же скитаться; ведь лист бумаги, в крайнем случае кусок коры можно найти везде, если не можешь не писать. Но я знал, что всё это отговорки, что тот, кто одержим подобною болезнью, всегда будет томиться по родине этого духа: Париж, Рим, Равенна. Без этого недуга я мог бы обрести отечество где угодно, и в море, и в пустыне; теперь я был бы изгнанником повсюду, и прежде всего в моей собственной стране.

Это воспоминание юности пришло мне в голову, когда я проезжал через парк; молчаливые изваяния стояли теперь, никем не тревожимые, на своих газонах, под сенью листвы.

## IV

Отец сидел в зале, в своем кресле. Он поднялся – и было хорошо заметно, что это далось ему с трудом – обнял сына, отодвинул его на расстояние вытянутой руки и в вычурных выражениях похвалил его наружность, но получил лишь недовольный ответ.

Для обоих под сводами пустой столовой был накрыт стол. Жудит не было. На вопрос Луиса отец его ответил, что она сейчас у родителей.

– Что, очередной бастард на подходе?

Отец кивнул, не поднимая глаз. Они принялись за ужин. Время от времени отец задавал вопросы о придворной жизни, о знакомых, о Короле, и затем, нерешительно: продвинулись ли его стихи. Для Луиса это послужило знаком отодвинуть стул и разразиться проклятиями в адрес демона, который всё так же терзал его и может сделать совершенно негодным для подвигов.

– Почему меня с детства должны были окружать статуи, грациозные, молчаливые, словно воплощения необходимого восприятия жизни? Отчего на стенах такое количество картин, что я стал принимать их за окна, открывавшиеся в мир, где всё было прекрасно, гармонично и близко настолько, что не было нужды путешествовать по исполненным опасностей дорогам! Будь я взращен в лесу, где топор и кинжал служили бы мне игрушками, а мишенью – быстроногая дичь, я научился бы защищаться и был бы решителен; но я лишь размышлял, а деяния мои были слепыми выстрелами в смутную реальность.

Луис сделал глоток; старик Камознс созерцал его с безмолвной печалью.

– Я никогда не подстрекал тебя писать стихи. И всё же был счастлив, когда обнаружил их.

– Но ведь вы же намеренно подложили Одиссею в беседку! Я знал, что Гомер – это слепец с палкой, эта картина висит в зале, я знал, что он описывал дальние странствия. Вот почему я пожелал прочесть ее, и чтение глубоко захватило меня, и мне захотелось самому попробовать написать такое, ибо в те времена мне еще нельзя было пускаться в скитания. Но это обмануло мою страсть к путешествиям и погрузило меня в сон. Нынче мне двадцать, и я еще никогда не покидал Португалии.

– Ты хочешь отправиться в Италию и Грецию?

– Нет! Никогда. Иначе я навсегда сделаюсь рабом этой страсти.

– Отчего же ты хочешь уехать? У нас большой замок и обширные владения. Горы тоже недалеко. Почему бы тебе не остаться здесь и не продолжать писать стихи? Ты полагаешь, что победы, которые, однако, обращаются поражениями, торговые предприятия, приносящие сперва выручку, затем убытки, – это более славные свершения? И все эти путешествия доказывают лишь то, что земля повсюду одинакова. Попытайся лучше сравняться с Гомером. Португалия будет забыта, а наше имя останется в веках.

– Что мне до того, что случится потом с моим именем? Я живу сейчас, и я хочу повидать мир! К тому же у меня нет более выбора. Через месяц я поступаю на корабль. Я изгнан.

– Изгнан! – вскричал старик. – И это тогда, когда мне остался год жизни? Не уезжай! Укройся тут!

– Через полгода я буду в Гоа. Теперь, когда я не могу обладать женщиной, которой жажду, я хочу забыть всё, родину, происхождение, но прежде всего старость, поэзию и женщину.

– Кто она! Говори! Ты получишь ее, даже если мне придется отправиться туда самому.

– Вы можете дать мне ту, что в скором времени делается Королевой Португалии? Король не переживет очередного удара; Инфант должен поторопиться с женитьбой, ибо опасается похищения.

Отец упал в кресло; Луис вышел в сад.

Он пробыл еще несколько дней. Теперь они разговаривали мало; отец страдал, но более не роптал. На прощание он повесил на шею сына реликвию и сунул в его седельную сумку книгу. Луис оправился назад в Лиссабон на маленькой речной барже; он выбрал ее, чтобы быть единственным пассажиром и не делить палубу со священниками и купцами. Когда баржа зашла за поворот, он швырнул реликвию за борт. Книгу он пролистал. Это был первый соблазн его юности; он помедлил, но в конце концов и этот дар унесла вода.

## Глава вторая

### I

Макао, 15... от рождества Христова

Стоял самый жаркий месяц года. Город лежал недвижимо, окутанный дрожащим воздухом; осоловелые птицы сидели в кустах на городской площади, на поверхности пруда качались снулые золотые рыбки; скручивалась и опадала листва, словно наступила осень, а жара держалась. Сверчки буйствовали так, будто их жарили живьем. В кабинете прокуратора<sup>11</sup> широкие, свисающие с потолка опухавшие двигались всё быстрее, но не приносили прохлады.

Прокуратор сидел за столом, обхватив руками голову. Его камзол висел на стуле; он постоянно промакивал покрытый бисеринками пота лоб, казавшийся более высоким благодаря залысинам. Он не работал, напряженно ожидая вестей со сторожевых башен: о том, что флот Малакки, который должен был прийти уже месяц тому назад и привезти им необходимое оружие, продукты и ламповое масло, наконец-то на подходе.

К довершению всех бед было решено, что на следующем заседании он должен утвердить сенатором своего застарелого врага Педру Велью – купца, управляющего торговлей с Японией. Во всех отношениях они были противниками. Кампуш постоянно рвался защищаться от китайцев с оружием в руках, Велью желал сражаться против коварства и взяточничества. Велью хотел отделиться от Малакки, подвергавшей чрезмерному контролю японскую торговлю. Ссылаясь на девиз Макао: *Nzo Mbs Leal*<sup>12</sup>, он отвечал, что если Макао немедленно подчинится короне, это будет несомненно соответствовать девизу. Он постоянно указывал на то, что Малакка знает свои права по отношению к Макао больше, нежели обязанности. Таким образом, опоздание флота его только радовало. Кампуш, в сущности, надеялся, что флот был задержан штормом или подвергся нападению, а не задержался в Малакке; так что Кампуш, по крайней мере, мог заткнуть Велью его мятежную глотку.

В дверь громко постучали. Вновь обнадеженный, он крикнул, чтобы вошли, но тут же увидел, что явились с еженедельной жалобой от мандарина из Хианг Чжана. Привратник подал ему свиток.

«Не будет ли угодно ли зенице варваров, волею Императора наместнику мандарина в Хао Кинге, возместить ущерб двум благородным купцам из Хэншаня, пострадавшим от жестокого обращения и брошенным в темницу? Мы требуем их освобождения и возмещения убытков в тысячу таэлей»<sup>13</sup>.

Всё это в цветистых выражениях расписывалось в свитке. Кампуш послал за казначеем. «Уплатить!» – велел он. Оставшись один, он вздохнул: все эти унижения и вытягивание денег подрывают закон и разрушают казну.

Было доложено о Семеду, старейшем младшем чиновнике Макао. Кампуш, натянув камзол, принял его, сетуя на флот и вымогательство. Семеду указал в окно на Илья-Верди<sup>14</sup>, видневшийся сквозь ряды деревьев Праи.

– Вот где выход. Если хорошо возделывать остров, он может приносить плоды, овощи, свое вино и свое масло, всё; тогда не будет более нужды в китайских торгашах.

---

<sup>11</sup> Здесь: управляющий провинцией.

<sup>12</sup> Нет преданней (*порт.*).

<sup>13</sup> Таэль, или лян – мера веса и денежная единица в Юго-Восточной Азии. Вес таэля в разные эпохи был различным.

<sup>14</sup> Ilha Verde (*порт.*) – букв. «Зеленый Остров», в средние века – остров к северо-востоку от полуострова Макао.

– Оставь эти свои старые байки! – вспыхнул Кампуш. – Я не могу обучать солдат выращивать капусту! И какой португальский крестьянин позволит заманить себя с родной земли работать на китайском острове? Если ты не в силах распротиться с этими бреднями, подай официальную бумагу, тогда у меня будет по меньшей мере пара спокойных лет. И больше никого не впускать, только посыльного из Гуи<sup>15</sup>, если появится.

Как только за Семеду закрылась дверь, Кампуш сбросил камзол и налил вина из большого глиняного кувшина, еще сохранявшего некоторую прохладу. Он вздохнул: хоть какая-то отрада среди этих больших огорчений. Но дверь вновь отворилась. «Посыльный. Наконец-то!» Он обернулся. В комнате, простирая к нему руку, стоял высокий тощий монах.

– Кто допустил тебя?

– Я прихожу и ухожу по воле Господней. И я вопрошаю от имени Господа: когда же, наконец, вы отдадите приказ возвести церковь для наших веропослушников? Когда будет построена семинария, которая станет воспитывать наших миссионеров?

Кампуш был в ярости от того, что чернорясый застал его без камзола.

– Никогда! – отвечал он. – Довольно нам тут церквей. На каждой улице по церкви. А эти ваши процессии меня до могилы доведут. Никаких церквей, никаких песнопений, никаких более шествий. Китайцы хохочут над псалмами.

– Вспомните последние слова Св. Ксаверия<sup>16</sup>: не оружием будет покорен Китай, но словом.

– Этого слова они не понимают.

– Дайте же нам церковь. У иезуитов их дюжина, а у нас, доминиканцев, обладающих бóльшим числом приверженцев, их всего две.

– Сколько еще раз мне повторять вам, что я не желаю тут никаких доминиканцев? Довольно с меня иезуитов. Но давайте, деритесь, усердствуйте, пихайтесь, тем лучше! Таким образом уменьшите уважение к себе и сами же себя истребите. Ни церкви, ни монастыря, ни часовни, ничего более; но Илья-Верди я вам отдать могу – не для того, чтобы понастроить церквей, но для того, чтобы возделывать его. Ведь доминиканцы всегда слыли превосходными земледельцами, верно? Помогите колонии хлебом и овощами, а уж потом несите пищу духовную.

– Не находит ли ваша милость, что все силы надлежит нам приложить к вспахиванию зачерствелого духа китайцев?

Но терпение Кампуша иссякло. Он уже поднялся, чтобы вытолкать назойливого доминиканца за дверь, как вдруг она распахнулась, и вошедший Капитан Ронкилью закатился хохотом при виде стоящих друг против друга прокуратора с обнаженными руками и Бельхиора, в мольбе раскинувшего широкие свисающие рукава.

– Дайте же ему его церковь, ваше превосходительство! Он ведь не отвяжется. Того гляди приведет с собой хор и станет петь серенады, вымаливая эту самую церковь. Еще больше от него шуму будет.

Бельхиор бросил пылающий взор на вояку, затем на управителя, и поспешил за дверь, но на пороге обернулся.

– Я отлучу вас от церкви, если не склонитесь пред волею Господней!

– Нечего тут отлучать. Папа дал это право только иезуитам, а наивысшая власть здесь – мы. А ты – бузотер, фанатик, ты и весь ваш орден! Это я вас отлучу! В течение месяца вы покинете колонию. Езжайте дальше в Китай! Давайте, давайте!

---

<sup>15</sup> Комплекс, состоящий из крепости, часовни и маяка, выстроенный на самом высоком холме Макао – Гуя. Крепость (Fortaleza da Guia) и часовня (Capela de Nossa Senhora da Guia) (*порт.*) были построены в 1622—1638 гг., маяк – в 1864—1865 гг.

<sup>16</sup> Franciscus Xaverius (Francisco de Yasu y Javier) (*баск.*) – (1506—1552) – миссионер, последователь Игнатия Лойолы.

Доминиканец исчез, оставив прокуратора захлебываться проклятиями. Ронкилью с добродушной усмешкой смерил его взглядом, скрестил руки на обшитой галунами груди, мельком глянул в зеркало в глубине комнаты, в котором отразился крепко сложенный, хорошо одетый офицер, рожденный покорять равно крепости и женщин. Он потянулся – ему нравилось чувствовать, как напрягаются мышцы. Выражение лица у него было неприветливое; но он бывал сердечным и дружелюбным, когда добивался желаемого, а желаемого он добивался всегда, и это исполняло его самодовольством более духовного характера. Каким он бывал бы, не добившись желаемого, узнать ему еще не доводилось.

Теперь он чувствовал, что должен взбодрить рассерженного прокуратора; приблизившись, он положил руку ему на плечо.

– Не сердитесь на этих попов. Вы же знаете, дерзость – их единственное оружие. Давайте ему всякий раз по десять эскудо для бедных, он будет обязан их принять. Ему придется показать, что он оскорблен ничтожностью пожертвования, и откланяться.

– Этот доминиканец – не единственное огорчение. Уж такую досаду я как-нибудь проглочу. Нет, тут гораздо больше.

Стиснув кулаки, он подумал о Педру Велью, своем враге, которого должен привести к присяге, о непрерывном вымогательстве китайцев, о запаздывающем флоте, о дочери, которая более не покорствовалась ему, и вновь о стоявшем перед ним человеке. Он указал ему на кресло и спросил:

– Вы видели Пилар этим утром?

Теперь нахмурилось и гладкое чело капитана.

– Да, видел. Сегодня утром я намеревался нанести ей визит, надеясь на благосклонный взгляд, на единственное слово, которое внушило бы мне мужество. Но я застал ее коленопреклоненной перед Святой Девой Пеньянской; она даже не подняла головы. «Позволь мне вернуться через сто кредо<sup>17</sup>, Пилар? – спросил я. – Нет, – отвечала она торопливо и хрипло, – мне нужно еще переодеться». Более она ничего не сказала; она показалась мне столь странною и бледною, – пятна яркого румянца, сверкающие глаза, – словно всю ночь молилась. Я ушел; мне пришлось выпить три бокала муската, чтобы отделаться от печальной мысли о том, что я никогда не смогу приблизиться к ней.

Теперь настал черед Кампушу утешать его.

– Терпение! Она еще молода, что такое семнадцать лет? Не торопитесь отказываться от возлюбленной, и я клянусь вам: еще до того, как ей исполнится девятнадцать, она будет вашей.

Так пытались они изгнать беспокойство друг друга, отец юной девушки и влюбленный в нее, воображающие ее на тихой женской половине – почти бездумно, пусть даже и в молитве, но живущую в мире, в который им доступа не было.

## II

Они вместе направились к дому: прокуратор в своем паланкине, капитан подле него, на небольшом, но благородном, крепко сбитом бирманском скакуне. Жители Макао останавливались и почтительно приветствовали их повсюду. Но на новой Руа Централь<sup>18</sup> настал их черед остановиться и склонить головы. Из распахнутых ворот собора, стоявшего в сотне метров дальше, на площади, появился арьергард процессии, начало которой преградило им путь. Бормоча про себя проклятия, они прижались к стене; но тут раскрылась дверь и какой-то старик пригласил их войти. Они спешили, и из полутемного прохладного патио стали наблю-

---

<sup>17</sup> Католическое песнопение, патетическая часть мессы.

<sup>18</sup> Rua Central (порт.) – Центральная улица.

дать проходящую процессию, и тот и другой раздраженные тем, что пришлось всё-таки ждать, угнетаемые предчувствиями, но радуясь, что остались незамеченными, что не нужно снимать шляпы, и наслаждались освежающим напитком, который им вскоре прислал старик.

По раскаленной, залитой солнцем улице – деревья отбрасывали на нее лишь узкие, короткие косые тени – продвигалась процессия. Впереди шли неофиты – китайцы в синих одеяниях, со свечами в руках, за ними следовали окрещенные ранее: негры в белых стихарях, из которых нелепо торчали их черные головы с выпученными белками закаченных глаз. Войдя в экстаз, они тряслись в судорогах, колотя посохами по неровной мостовой. Шли японские девочки с шерстистыми ягнятами, растянув между собой грубо вышитые изречения. Несколько опережая шествие, под высоким балдахинном – Бельхиор среди своих черных монахов, с золотой коробкой хостий в воздетых руках. Трезвонили колокола, тяжело и настойчиво. На углу улицы появился Христос в короткой сутане, влача крест, босоногий, с окровавленным лбом. Колокола умолкли. Все преклонили колени во внезапно наступившей тишине, и стало слышно тихое напевное причитание. Из дверей церкви на улицу спустилась Вероника в красном одеянии, с обнаженной шеей; приблизившись к Христу, она прижалась лбом к его венцу и, сняв вуаль, утерла им кровь и пот с измученного чела. Из закрытого дома воззвали два голоса: «Пилар! Сюда!», но никто не услышал их. Все были погружены в молитву, все глаза были устремлены на согбенную фигуру Христа, тащившего крест по грубым булыжникам, и на юную девушку, дарующую ему последнее утешение. Они прошли, вновь последовала процессия монахов; четыре ангела с трубами завершали шествие.

Кампуш и Ронкилью не помнили, кто кого удержал от стремления броситься к доне Пилар, вырвать ее из власти монахов и увести в дом. Зависть, более сокрушительная, нежели ревность, вскинула к горлу их руки, которые затем вцепились в решетку окна, чтобы удержаться на ногах. Ненависть к небесному блаженству, к коему они не были причастны и которое столь победительно струилось из глаз Вероники, заставила их оцепенеть. Как только процессия скрылась из виду, они очнулись. Отец с головой ушел в горе любовника, которого желал бы видеть своим сыном.

– Вечером я собираю сенат. Идите к ней, овладейте ею, умыкните ее, сделайте что угодно. Эти монахи... – Он не смог продолжать.

Ронкилью молча пожал ему руку, впервые подавленный страхом предстоящей ночной экспедиции, во время которой не предвиделось обычных для него, привычных опасностей. Голос старика-хозяина, их неожиданного благодетеля, заставил их вздрогнуть. Это был один из первых свободомыслящих в Макао, один из немногих вырвавшихся из-под кастильской короны галисийцев. Он выразил им признательность за честь, оказанную его дому, сожалел о причине, приведшей их, и попросил и впредь рассчитывать на него. Прокуратор вежливо поблагодарил его за поддержку в минуты, когда светская власть вынуждена была посторониться перед властью церковной, и посетовал, что не может долее оставаться. Появились носилки и лошадь. Они двинулись дальше, подавленные общей заботой, а Кампуш еще и многими другими. Он завидовал Ронкилью: слишком разные были у них задачи. Ронкилью собирался похитить любимую женщину, которая хоть и ненавидела его, всё же должна была принадлежать ему; Кампушу же предстояло самолично облечь полномочиями смертельно ненавидимого врага, и полномочия эти предоставят ему больше возможностей претворить в жизнь свои планы.

### III

Население Макао в этот полдень заполонило улицы. Можно было видеть португальцев, малайцев, японских женщин, черных рабов, китайских чиновников, солдат, а также многочисленных монахов. Все почтительно сторонились, уступая дорогу паланкину, снимали головные

уборы, кланялись или садились на корточки на дороге – каждый по обычаю своей страны. Прокуратор едва замечал их. Ронкилью свернул в переулок; Кампуш же продолжал размышлять о Велью, который деньгами и уговорами мог достичь чего угодно: дать взятку вице-королю Кантона, подкупить пиратов, не озабочиваясь их уважением, лишь бы торговля не пострадала. Как будто были какие-то сомнения относительно этой торговли! Как будто сильный, неприступный Макао не имел наивысшей рыночной стоимости! Он отобедал в одиночестве, затем послал за дочерью.

Она предпочла не покидать своих покоев. На его стук не открыли, дверь осталась на засове. Он вышел в сад, ее фигура отшатнулась от окна в глубину комнаты, он успел заметить только красное одеяние и черную фалдетту<sup>19</sup>. Это напомнило ему о процессии, которой он, Прокуратор, вынужден был уступить дорогу, в то время как его собственная дочь на его глазах вытирала пот со лба переодетого Христом доминиканца. Этот пот был единственное, в чем фигляр не притворялся! Кампуш вновь взбежал по лестнице и забарабанил в дверь.

– Пилар! Сбрось этот маскарадный костюм и открой дверь своему отцу!

Внутри было по-прежнему тихо.

– Пилар! Ты дочь мне или же лицемерка, действующая заодно со святошами?

Теперь слышались тихие звуки лютни, – словно серебряная насмешка над его грубыми словами.

– Если ты не послушаешься, я прикажу моим солдатам выломать дверь!

Звуки лютни умолкли.

– Хорошо, отец, погоди, я сменю платье, которое тебя так раздражает.

– Я жду.

Через минуту дверь открылась; Кампуш ворвался в комнату, бросился к умывальнику и, задыхаясь, налил стакан воды. Его дочь в простом домашнем одеянии сидела у окна.

– Кто позволил тебе принимать участие в шествиях? То, что ты не любишь своего отца, мне давно известно, но я запрещаю тебе показываться публично с его врагами.

– Мне было видение, отец. Флот Малакки погиб.

Она не поведала о том, что видела еще кое-что: человека, который спасся с тонущего корабля и отчаянно пытался добраться до некоего черного побережья. Она видела воздетую над волнами руку – даже в те моменты, когда голова его скрывалась в волнах, в этой руке была зажата палка или свиток, – она не могла разобрать.

– Мне нет дела до твоих видений. Я отлично знаю, в каком парнике они возвращены. Через месяц ты обвенчаешься с Ронкилью, и все твои видения как рукой снимет. Сначала ты станешь ненавидеть меня; впрочем, ты уже сейчас меня ненавидишь, стало быть, ничего не изменится. Но как только у тебя появятся дети, ты даже будешь благодарна мне.

На какой-то момент Пилар привиделось сражение грубого Ронкилью с тем, из видения; она взглянула на отца.

– Да, я бы хотела иметь детей. Но никогда я не предаю своего тела для продолжения ничтожного рода Ронкилью.

– Из какого же высокого рода происходила твоя желтолицая мать?

– Из того, что существовал уже тогда, когда Португалия была еще мавританской провинцией, а ее население – рабами магометан.

Сдерживая гнев, Кампуш оперся ладонями о стол; тонкая столешница розового дерева треснула. Он не был уместен в этой комнате – как бык, ворвавшийся в лилейный сад. Однако вскоре краска отхлынула от его лица, властная усмешка искривила губы, и он медленно приблизился к дочери.

---

<sup>19</sup> Женская накидка с капюшоном.

– Не прикасайтесь ко мне. Вы обвиняете меня в том, что я знаю с доминиканцами. Вы сами подвинули меня искать у них защиты, и я кончу тем, чего сама не желаю: уйду в их монастырь.

– В таком случае ты с этой минуты – узница своего отца и человека, облеченного наивысшей властью в Макао – Прокуратора.

Он вышел из комнаты и выкрикнул приказ. Пилар услышала неторопливые шаги двоих слуг.

– Ты под стражей! – крикнул Прокуратор, спускаясь по ступеням. Она подошла к окну: у оливы уже стоял на посту стражник. Пилар обессиленно соскользнула на жесткий подоконник.

Через час-другой она неслышно подобралась к двери, но та немедленно захлопнулась. На темной древесине вновь – теперь отчетливей – явилось ей ночное видение: участок моря в прорыве тумана и – на чудовищных волнах, исхлестанных плотным дождем, словно армия карликов, сражающаяся с армией великанов – переваливающийся с боку на бок большой корабль; он затонул; последним скрылся высокий ахтерштевень. И тогда с мачты спрыгнул человек и по бушующим волнам поплыл к черному отвесному берегу, не опуская высоко поднятой руки. И еще она увидела: желтый раскаленный песок, который, казалось, внезапно возник под неподвижно лежавшим пловцом; затем всё затянулось туманом; неожиданно открылась дверь, ударив ее по лбу. Она отскочила и вновь отошла к окну; слуга внес блюдо. Она не обернулась, и слуга, осознав, что за ним не наблюдают, спокойно подобрал серебряную застёжку, лежавшую у ножки стола.

Кампуш в этот день не мог найти покоя после обеда. Он без конца взвешивал, был ли он чересчур суров с дочерью или же, напротив, слишком мягок.

«Не спугнуть бы птичку, упорхнет еще, – бормотал он. – Может ли она сбежать?» Он намеревался поставить солдат и у входных дверей, но продолжал опасаться власти священников. Ранее обычного он взошел в паланкин; у здания Сената бряцанье подков вывело его из раздумий; в ту же секунду он плюхнулся на землю и увидел среди ошеломленных носильщиков коня, на котором восседал Ронкилью.

– Что на вас нашло, опрокинуть меня посреди улицы? – Кампуш с трудом выбрался из скособочившихся носилок, щурясь от солнца и глядя на Ронкилью; его трясло от раздражения. Ронкилью спешился, велел увести лошадь и потащил за собой Прокуратора, который уже с первых слов стал внимательно слушать.

– За обедом мы с Альварешем и Брандау распили бутылку кислоты из старых запасов. Альвареш, а у него глотка чувствительная, отодвинул свою чашу и сказал: «Сдается мне, это то самое вино, которое Велью получит к своей последней вечере».

– Ну а мне-то какое до этого дело? – всё-таки спросил Прокуратор.

– Какое пожелаете. Хотите, сегодня вечером, при его введении в должность, сразу поставим вопрос о жизни и смерти?

Они продолжали беседу. У здания Сената Ронкилью вновь вскочил на коня и свернул в крутую боковую улочку. Кампуш прошел в ворота, низко пригнувшись, словно только что услышанное взвалило груз на его плечи.

## Глава третья

### I

Педру Велью был выше и сдержаннее, нежели его соотечественники. Он родился на севере Минью<sup>20</sup> и был одним из немногих, отплывших из Порту<sup>21</sup>. Его внешность, казалось, была взята примером для предостережения, начертанного над одними из ворот Кантона: Через врата сии нет входа всякому, кто имеет румяное лицо, голубые глаза, светлые волосы и бороды. Эти приметы были присущи Велью, великому купцу, в высшей степени. И всё же он являлся одним из немногих, вошедших в эти ворота, единственным, кто видел великий Гуанси<sup>22</sup>, первым, кто в храме трехсот великих духов<sup>23</sup> узнал Марко Поло в одной из гигантских бронзовых статуй. Прочие португальцы храбростью и жестокостью желали восполнить то, чего им не хватало в численности; возможно, они выигрывали в доблести; жестокостью же намного уступали противнику. Велью был единственным, кто понимал, что сила оружия и геройские подвиги не внушали уважения Небожителям, но преисполняли их презрением. Он признавал только одно оружие: подарки, преподносимые таким образом, что принять их казалось одолжением. Этим оружием он владел мастерски, никогда не давая ни чересчур много, ни чересчур мало, чувствуя, сколько полагается управителю, сколько мандарину, священнику, шпиону. Благодаря этому крупная часть поставок чая и шелка находилась под его присмотром, так же как и продовольственное обеспечение, и он сделался самым состоятельным и могущественным человеком в Макао. Но эта власть и богатство зиждились исключительно на его связях с китайцами.

Соотечественники ненавидели его: собратья по гильдии – из зависти, офицеры – потому, что он хотел убрать их с дороги, духовенство – оттого, что он глумился над рвением ордена и своими щедрыми пожертвованиями затмевал блеск церковной благотворительности, выставляя на посмешище ее скарденность. Его уже давно не допускали ни на какие посты, или же допускали неохотно. В конце концов ему предстояло стать еще и сенатором. Нельзя было лишиться его сейчас, когда колония испытывала трудности с продовольствием, китайцы вновь и вновь запирали житницы и лишь таинственное влияние Велью могло открыть их.

И вот он сидел возле углового окна в своем кабинете, просторном зале о шести окнах с видом на море. Таким образом ему открывалась постоянно меняющаяся перспектива, и он легко расхаживал по просторному помещению в шелковом цветастом одеянии – подарке того самого управителя Кантуна, который некогда грозился разрушить Макао. Над этим его домашним облачением посмеивались; португальцы оставались верны лишь своей неловкой, тяжелой одежде, но Велью скрывал тучность в свободных складках шелковой ткани, легче переносил жару, работал усерднее и не обращал внимания на насмешки. В этом наряде он принимал всех, от ничтожнейшего китайского купца до аудитора, явившегося за советом, как вновь снискать милость разгневанного мандарина. Велью усаживался, развалился, за стол, воздевал руки, и спадающие вниз просторные рукава обнажали их полноту. Тогда он делался красноречив и открывал секрет, какими путями может быть завоевано благорасположение гневливца. Прокуратора безмерно раздражала подобная практика, которую он полагал унижительной для королевской власти.

---

<sup>20</sup> Minho – португальская провинция.

<sup>21</sup> Porto – второй по величине город в Португалии (после Лиссабона).

<sup>22</sup> Во времена Минской империи (т. е. в описываемые в романе) – самостоятельная провинция на юге Китая.

<sup>23</sup> Буддийский храм Кун-Ям-Тонг, посвященный богине милосердия Гуаньинь (основан в XIII веке), самый крупный действующий буддийский монастырь в Макао. Построен в 1627 году. На его территории находится статуя Марко Поло, прожившего в Китае 17 лет.

Однажды, когда Велью подарил роскошное свадебное приданое бедному цветному, прокуратор обвинил его в щедрости по отношению к желтокожим и в недостаточной готовности идти на жертвы для отечества.

– Если бы вы свои сокровища отдали армии, Макао давно стал бы независимым, свободным от этих унижительных мер, ваша торговля сделалась бы вольной, ибо, вполне возможно, мы подчинили бы себе весь Кантон, и не только его. – Глаза старого рубаки сверкали. – Ведь завоевал же Александр весь мир с небольшим войском?

Велью, рассмеявшись, положил руку на карту. Он указал на крапинку в Поднебесной и на пятно где-то в отдалении.

– Это мы.

И, проведя ладонью почти по всей Азии:

– Это они. Три века тому назад Чингиз-хан явился, чтобы захватить всю Европу. Она была беззащитна, но он пренебрег ею. И оказался прав. Несколько замков баронов-разбойников<sup>24</sup> и горстка враждующих городов, разве это трофей? А вы хотите с парой отрядов выступить против величайшей в мире империи? И для этого я должен расстаться с моим добром? Ну уж нет.

Кампуш отбыл в ярости, намереваясь подать на него жалобу. Но ему не удалось сформулировать обвинение, не выставив при этом на посмешище самого себя, так что задуманное осталось неисполненным.

И вот нынешней ночью Велью предстояло сделаться членом Сената. Никто не явился к нему с пожеланиями удачи. Внушающий страх и уважение в публичной жизни, избегаемый в компаниях, он был одинок в своих четырех стенах. Его молчаливое семейство состояло из двоих вольноотпущенных малайцев и девушки, подаренной ему мандарином. Он окружил себя бронзовыми статуями, фарфором и лаковыми ширмами, которые в те времена считались у белых никчемными и уродливыми. С воспоминаниями он обращался точно отец со своим многочисленным потомством: они являлись к нему по вечерам, чтобы развеселить его или заставить мрачно уставиться перед собой. Эти, последние, нередко возвращались к нему: много лет назад влачил у него остаток дней некий престарелый апостол<sup>25</sup>, двенадцать лет проработавший в Шанси и обративший в веру огромное количество людей, в том числе из высших кругов, и даже литераторов. В конце концов он захотел подточить и последний оплот язычества: культ предков.

Вскоре он заметил растущее против него недовольство, даже среди близких друзей. В то же время поступило распоряжение из Пекина: никакой иной ордена, кроме иезуитского, более не имеет права находиться в пределах страны. Вечером, проходя мимо храма, он был схвачен, препровожден на испанское судно и, умирающий, высажен в Макао. Доминиканцев в то время в городе еще не было, иезуиты рассматривали их усердие как пагубу миссии. У него имелось для Велью рекомендательное письмо от влиятельного лица, но оно было утеряно. Велью, хоть и смилостивился над ним, по вечерам до глубокой ночи изматывал его бесконечными беседами. И всё же иезуит умело скрывал свое истощение. Однажды они заговорили о смерти. Велью открылся ему, что желал бы заранее знать свой час. «Я должен подготовиться, уладить дела, разделить состояние и настроить мысли на лучшие охранные грамоты для другой страны, на Бхагавад Гита, на проповеди Конфуция».

Старик-миссионер, печально глядя на него, осудил его за это заблуждение.

---

<sup>24</sup> Раубриттеры (Raubritter) (нем.), или благородные разбойники – рыцари или особы рыцарского происхождения, совершавшие нападения на проезжающих поблизости от их замков купцов и путешественников.

<sup>25</sup> Здесь: странствующий проповедник христианства.

– Ты узнаешь приближение смерти. Когда вино покажется тебе горше желчи и кислее поски<sup>26</sup>, – твой конец близок. И тогда тебе останется единственное утешение: Евангелие. Всё остальное – пустое, языческое созерцание.

Велью вознамерился было указать на превосходство индусского евангелия, как вдруг услышал покашливание. Он оглянулся: в дверях стоял комендант форта. Велью не ожидал его, но сказал, что ему доложили о приходе коменданта, и завел разговор о доставке продуктов для гарнизона. Он занялся делами; святой отец в это время скрылся. Ночью Велью со страхом обдумывал исполнение своего желания; утром он хотел было попросить об отмене, но священник минувшей ночью умер, – силы его были давно подорваны пытками и лишениями, а также, вероятно, ночными беседами, во время которых ему приходилось стойко защищать свою веру от широкомасштабных нападков Велью, сражавшегося при помощи цитат из всей восточной философии.

## II

Ронкилью не мог дожидаться вечера. Со стен цитадели он непрерывно рассматривал в бинокль дом. В наступающих сумерках он увидел, что Прокуратор вышел из дома; он подождал еще полчаса и затем отправился в путь. На Руа ди Бон Жизуш<sup>27</sup> он привязал лошадь в каком-то заброшенном саду и отправился далее пешком.

Задние ворота были открыты. Из мягкого вечернего света он ступил в зябкие сумерки; густо заросший и чуть одичавший сад был полон теней, между стенами и деревьями царила совершенная тьма. После коротких поисков он обнаружил узкую тропинку, ведущую к задней стороне дома, казавшегося тихим и покинутым, – большинство окон было закрыто, кроме трех в комнате доны Пилар на третьем этаже.

Ронкилью заметил прислоненную к оливе лестницу, словно днем с нее собирали плоды. Нынче ночью будет сорван самый верхний плод, подумал он, взбираясь по лестнице, радуясь, что его тяжелое тело так легко с этим справляется. Он достиг ветви напротив балкона. Там стояла Пилар; он не смел шевельнуться, чтобы не быть замеченным, и выжидал, оседлав ветку и поставив ногу на верхнюю ступень лестницы. Пилар продолжала стоять на балконе, всматриваясь в вечернее небо. Он вжимался в темный древесный ствол, члены его заныли и затекли из-за вынужденного сидячего положения, и чем дольше стояла Пилар на балконе, тем недоступней казалась она ему. Он почти отказался от плана похищения. Казалось бы, нет ничего проще: Пилар, наполовину сопротивляющаяся, наполовину беззащитная от изумления – в его объятиях; усадить ее в носилки, доставить на борт *lorcha*<sup>28</sup> его друга Рамиреса, сняться с якоря и во время этой водной прогулки через залив мольбами склонить к себе сердце желанной или же взять ее силою. Или лучше: проникнуть в комнату, приблизиться к ее ложу и просто, словно все уже давно было решено, заключить ее в объятия и не давать опомниться, пока не свершится непоправимое. Но как ему пройти неслышно и естественно? Члены его немели всё больше, кровь в жилах струилась медленнее, и в тяжелом влажном одеянии он чувствовал себя скорее жалким бандитом, нежели торжествующим любовником.

Внезапно она взглянула в его сторону, он втянул голову, но Пилар, в последний раз бросив взгляд на вечернее небо, ушла в комнату. Момент настал. Он с трудом перелез с ветки, на которой сидел, на балкон; кончик ветви уже стигбался, но он успел ухватиться за прутья балюстрады и с трудом и не без шума подняться. Когда он взобрался на балкон, в комнате было

---

<sup>26</sup> Поска – смесь винного уксуса и воды, утоляющий жажду напиток древнеримских легионеров.

<sup>27</sup> Rua del Bom Jesus – улица Иисуса Милосердного (*порт.*).

<sup>28</sup> Лорча – парусное судно (вид джонки) с китайским такелажом и европейским корпусом.

темно, он различал только букет белых цветов на столе. Протиснувшись в комнату, он тут же растянулся на ковре в луже воды и осколках вазы, послужившей причиной его падения.

Он торопливо поднялся, но услышал поворот ключа в дверном замке и короткий смешок. Он выскочил назад, на балкон, но крупная ветвь была сломана. Выхода не было! В отчаянии и внезапно ощутив смертельную усталость, он бросился на постель, но тут же снова выпрямился: лежать там в одиночестве было такой обидой, что кровь бросилась ему в голову. Во всем чувствовал он присутствие Пилар: в развешанных повсюду одеждах, в зеркале, в которое она столь часто смотрелась, в стоявших на столе цветах.

Он ударил кулаком по столу. На ковер упали осколки еще одной вазы; беспорядок в комнате обвинял его; он связал друг с другом шелковые одеяла, платья, простыни, не прикинув расстояния, выбрался из окна и повис, ухватившись за два рукава, в добрых восьми локтях на землей. Выпустив рукава, он со шлепком приземлился и, кряхтя от боли в разбитой лодыжке, умудрился доковылять до своей лошади. Он взобрался в седло, предполагая, что Пилар наверняка уже далеко, не исключено, что ищет прибежища в доминиканском монастыре. Но там она не будет в такой безопасности, не укрыта от глаз так надежно, как ей кажется. Он знал о ненависти Прокуратора к доминиканцам, – ведь утром он был свидетелем ярости Кампуша по отношению к дерзкому Бельхиору. Они изничтожат это осиное гнездо, выкурят, если понадобится. Он рысцой повернул назад, к цитадели, его пришлось внести вверх по лестнице, он жаждал вина и хлеба и остаться в одиночестве, и сам перевязал себе лодыжку. Боль усиливалась. Он продолжал размышлять, всё больше и больше склоняясь к мысли, что Пилар сбежала в монастырь. Он пил и пил вино. Изгнать бы доминиканцев, тогда и монастырь можно перевернуть вверх дном. Тао Хсао, вице-король Кантона, всё еще угрожал голодом – старое проверенное средство – если не будут снесены семинарии и монастыри, в которых ему чудились замаскированные укрепления. Отчего бы не сделать это прямо сейчас? Он представил, как будут сокрушены внешние стены, затем головное здание, как, окруженная монахинями, выйдет из него Пилар. Он представил, как схватит ее; и схватил, но это оказался винный кувшин; он откинулся назад, и вино потекло на пол по его сапогам.

### III

Кампуш осторожно прокрался вверх по лестнице и замер у двери, прислушиваясь; ни звука. Он постоял немного, раздумывая, входить или нет, – но, войдя, он окажется сообщником. Сквозь замочную скважину в слабом лунном свете он не увидел ничего, кроме опрокинутой вазы. Вновь спустившись вниз, он обвел взглядом сумеречный сад и заметил обломанную ветку. Стало быть, Ронкилью всё же побывал внутри, на этот счет можно было быть спокойным: их союз был скреплен, они вместе смогут подчинить себе купцов. Кто основал этот город: купец, священник? Нет! Солдат. Кампуш вновь припомнил свою излюбленную историю, победное шествие Александра. Но купцы в те времена были воинственными, а иезуитов еще не изобрели. Стало быть, с корнем вырвать и тех и других, любой ценой и любым способом, как учили они сами, каждый на свой лад. И тогда, избавившись от всех них, установить террор по всему китайскому побережью, отправить десять тысяч солдат походом на Пекин. Он словно слышал слова Фарриа на его смертном ложе: «Никакого духовенства, никаких купцов не допускать, иначе Макао будет вскоре сожжен, как Лиан По, или постепенно пожран раздорами. Земледельцы и солдаты, более никто. Монополия в торговле – для короля. Португалия чересчур далеко, они там не слишком торопятся с подкреплением. И тогда можно будет основать собственное королевство».

Эти слова, так же как и похождения старого пионера, растворились во всем существе Кампуша; порой он чувствовал, что Фарриа продолжает жить в нем, но по большей части, угне-

таемый медленным обычным положением дел, он издевался над тем, что сам называл героическими бреднями.

Он дурно спал, пробудился рано и стал ожидать появления Ронкилью, ликующего и бахвалящегося, или Пилар, бледной и заплаканной, но никто не вышел. В шесть часов он вновь прокрался наверх, приник к замочной скважине и вновь не увидел ничего, кроме опрокинутой мебели. Однако она защищалась, его дочь! Не стоит думать, что женщина из его рода покорится, словно кроткая овечка, обреченная на заклятие. Однако его нетерпение сделалось невыносимым. Он открыл дверь собственным ключом: его взору открылось еще большее разрушение и пустое ложе. Подоконник пересекала пестрая полоса: он подошел ближе, осторожно втянул в комнату связанные покрывала и платья и разъединил их. Но следов тяжелого груза было не удалить: все было измято и порвано. В ярости он зашвырнул вещи в гардероб и отправил посыльного в крепость. Он похитил ее, ладно, но отчего же таким дурацким способом? Ступени скрипнули, входная дверь стукнула, но мог же Ронкилью рассчитывать на то, что все слуги отосланы, или ему ударили в голову рыцарские романы?

Посыльный вернулся не солоно хлебавши: капитан никого не принимал. Стало быть, он увез ее в крепость? Это уж слишком откровенно! Всякому станет понятно, как свершилась эта свадьба; такого их честь не потерпит! Кампуш поспешил в крепость. Было еще рано, улицы были пустыни. До того, как город проснется, он сможет увезти Пилар домой, – будто бы они возвращались с заутрени.

Ронкилью, возлежав на кушетке с толстой повязкой на ноге, встретил его злобным смехом.

– Не вышло, птичка упорхнула, а сам я чуть в клетку не попал.

– Улетела? Но отчего же вы не дождались моего прихода, мы бы тут же пустились вслед за ней!

– Не забывайте, что расстояние от вашего дома до монастыря доминиканцев всего в пяти минутах ходьбы.

– Монастырь? Вы думаете, что она там?

– Разве вы забыли тот маскарад? Поверьте, Пилар в этот момент вновь изображает Веронику, или Марию Египетскую, как знать?

– В таком случае мы потребуем ее выдачи! Отцовская власть выше церковной.

– Для нас это может плохо кончиться. Монастырь – неприкосновенное убежище. И разве отец не поторопился уступить свою власть? Не будет ли нанесен отцовской и наместнической власти ущерб более сильный, нежели ущерб, причиненный веткою моему сапогу, если эта история выплывет наружу? Нет, давайте лучше немедленно истребим это гнездо и сравняем его с землей. Только подумайте, какие это сулит нам выгоды! Мы, наконец, отделаемся от доминиканского отродья, купцов заведем в тупик, а сами приобретем горячую благосклонность китайцев.

– Каким путем?

– Путем возникновения повода для ликвидации монастыря.

– Что это за загадки?

– Слушайте же. У купца Лоу Ята имеются сын и дочь, подпавшие под влияние доминиканцев и сделавшиеся истовыми их последователями. Они исповедуются, ходят в церковь и умеют осенять себя крестным знаменем, к огромной ярости почтенного Лоу Ята, который, если не ошибаюсь, является дьяконом храма А Мао. Весь китайский околоток говорит об отступничестве его потомства. Так вот, сегодня вторник. В четверг утром Лоу Ята найдут за его прилавком с перерезанным горлом, а сын и дочь исчезнут. Что придется подумать китайским властям, чего они должны будут потребовать? Каких только требований не удовлетворит купеческая гильдия? Каковые мы весьма охотно исполним, к удовлетворению мандарината?

– Но мы не обнаружим детей Лоу Ята в монастыре, – возразил Кампуш.

– Их вообще никогда не найдут. Однако в монастырском дворе будут произведены раскопки и обнаружены детские тела в неопознаваемом состоянии, разложившиеся и лишенные глаз.

– Однако это уже слишком! – вскричал Кампуш. – Таким образом мы подставим под удар всех, кто именуется себя португальцем.

– Но не нас. Поразмыслите над последствиями: духовенство вытеснено, власть купцов, которые на этот раз не сумеют уладить дело кошельком, ограничена, – и суровый, но справедливый прокуратор, во имя правды поднявший армию против собственных священников, почитаемый и вызывающий трепет во всем Китае, до самых отдаленных уголков.

– А кто же возьмет на себя убийство семьи Лоу Ята, да так, чтобы нас не разоблачили как организаторов?

Ронкилью хмыкнул.

– Есть у меня трое в гарнизоне, о которых я знаю достаточно, чтобы отправить их на виселицу в любой морской державе. Они будут молчать.

– А они не выдадут нас?

– Никогда. Я сам проткну их в суматохе нападения на монастырь. Мертвые не говорят.

Кампуш сдался. Он взглянул на Ронкилью почтительно, и с удивлением припомнил, что еще сегодня утром считал его храбрым, но недалеким.

– Действуйте как считаете нужным. Я остаюсь в стороне до тех пор, пока не обнаружат тела. Тогда я выступлю за справедливость и накажу виновных.

## IV

Была ночь заседания Сената, во время которого Педру Велью предстояло получить должность. Кампуш в своем опустелом доме готовился к неприятному событию. Ему пришлось одеваться при скудном свете свечей.

Флот Малакки так и не прибыл, так что лампового масла по-прежнему не было. Неужели видение Пилар всё-таки было отражением действительности? Дом прокуратора освещался лучше, нежели какой-либо; многие зажигали не более одной свечи, но он не имел права проявлять расточительность. На душе у него было еще темнее. От дочери ни слуху ни духу, Лоу Ят и его дети всё еще живы; когда он спрашивал о них у Ронкилью, тот с хитрецей ухмылялся и отвечал расплывчато. Сам он предпринял еще некоторые попытки разыскать в прошлом Велью хоть какое-нибудь позорное пятно или темное дело, но тот был либо в самом деле беспорочен, либо чересчур ловок, и не было найдено ничего, что могло бы помешать его назначению сенатором. Сегодня вечером выяснится, окажется ли суеверие Велью фатальным для него. Если нет, то он, Кампуш, потерпит второе тяжкое поражение.

Кампуш уставился в окно заднего фасада: темный Макао лепился ступенями к холмам. Почему не пробурили нефтяные скважины на Илья-Верди? По крайней мере было бы освещение. В такой темноте ночное нападение пиратов или испанцев может оказаться роковым. Кампушу вновь припомнились призывы Фарриа в Сенате: укрепляться и колонизировать Илья-Верди. Но Кампуш всегда рассматривал подобные речи Фарриа как своенравные идеи патриархального старца, полагавшего осуществимым организацию колоний, как это описано в Библии.

Теперь, в темноте, он увидел, что и тут прав был Фарриа, остров был пустынен и небезопасен. Город по-прежнему страдал от недостатка пищи, в порту на перешейке полуострова приходилось торговаться с китайцами из далекого Пак Ланга, приезжавшими и уезжавшими, как вздумается или когда прикажет кантонский губернатор. Флот из Малакки всё не шел, и посему Макао периодически испытывал затемнения, по вечерам горело всё меньше огней;

Гуя, которая должна была указывать путь флоту<sup>29</sup>, держалась дольше всех, но когда и этот огонь уже нельзя будет зажечь, придется разводиться большие костры у входа в залив. Настолько плохо дела еще не обстояли, но все уже ложились спать раньше: ночная жизнь стала невозможной, читать было нельзя, а беседы в темноте слишком угнетали дух. В постель ложились рано; через несколько месяцев рождаемость вновь возрастет, – единственная польза. Было десять часов вечера. По улицам ходил герольд с барабаном и колеблющимся факелом.

«Сенатор Макао оповещает население, что освещение дозволяется лишь у больных и умирающих, и что всякому, кто имеет запасы лампового масла, надлежит сдать его в распоряжение службы освещения. Утаивший будет подвергнут штрафу и закован в колодки».

Темные рамы ухмылялись в ответ на это воззвание, которого никто не слышал. Затем стало вновь тихо и темно, лишь брезжил сверху свет Гуи, медлительные волны накатывались на парапет Праи. Ветер развеивал штандарт на здании Сената; полотнище время от времени хлопало. Площадь оставалась пустой до полуночи. Затем на ней появились фигуры в длинных мантиях; войдя в боковые ворота, они спустились по лестнице и собрались в подвальном помещении, где горело несколько ламп. Трепещущий свет приводил в движение черты мертвеца, лежавшего в центре на носилках, с еще не закрытыми глазами; тело было покрыто флагом, в согнутой на груди правой руке был зажат жезл. В головах и ногах стояли двое в одинаковых одеяниях. Один за другим подходившие образовали круг из двадцати четырех человек. Стоявший в головах взял слово; он казался гораздо старше того, прощание с которым было целью сего ночного собрания. Он вытянул руку над мертвым телом; тень от его бороды также пересекла труп и задвигалась в такт его словам.

– И вот ты мертв, Перейру, последний из пионеров, без чьего прихода этот город на краю дознанного мира, вдали от нашей родины, не существовал бы; город, заложенный тобою на руинах прежнего и на могилах твоей семьи. Словно крепчайший столп, на котором зиждется наше существование, сломан, или покосился, и мы ощущаем, как колеблется под ним почва. Пусть же каждый из нас напряжет все свои силы, пусть каждый из нас молится о том, чтобы часть твоей силы передалась ему.

Он отступил в сторону. Один за другим сенаторы проходили мимо тела, возлагали руку на сердце Перейру и произносили краткую молитву. Затем старейший, Гимареш, закрыл глаза своему другу и продолжил:

– Мы все знаем, что тот, кто займет место усопшего, не обладает ни одним из его качеств, но таким же могуществом, благодаря качествам диаметрально противоположным. Мы знаем, что последователь не отличается ни рыцарскими достоинствами, ни выдающимся происхождением. Но пусть каждый задумается о том, что в интересах нашего общего дела нужно обходиться с ним, новоизбранным, как с одним из нас. Омбудсмен<sup>30</sup>, введите нового сенатора.

Омбудсмен вышел за дверь и вернулся с низеньким толстяком, на голову которого был наброшен платок. Он сначала обвел его вокруг мертвеца, затем отступил и кратко сказал: «Примите жезл из рук вашего предшественника».

Велью, оставленный в изножье, стоял в раздумье, словно хотел в тишине почувствовать, в какой стороне искать, потом шагнул вперед, внезапно выбросил руку в нужном направлении и высвободил жезл из рук мертвеца. По ряду прошло удивленное одобрительное шушуканье. Гимареш вновь произнес краткую речь, вновь указал на различие между покойным, который был великим воином, и его восприемником, который был великим купцом, что могло послужить символом меняющихся времен. Теперь он воззвал Велью употребить свое могуществом

---

<sup>29</sup> Очередная историческая вольность Слауэрхофа: маяк на Гуде был построен лишь в XIX в.

<sup>30</sup> В Португалии: должностное лицо, назначенное магистратом, на которое возлагается функция контроля за соблюдением справедливости и интересов дворянства.

ное влияние на пользу корпорации, частью которой он отныне являлся. Велью отвечал холодно и сдержанно. Тогда Гимареш подал знак обмудсмену, тот открыл люк в стене – в нише стоял наготове бокал красного вина из корабельных запасов «Святой Девы», который полагалось осушать каждому новоиспеченному сенатору. Велью, приблизившись, сделал глоток, но смертельная бледность охватила его, он пошатнулся и упал бы, если бы магистрат и сенатор не поддерживали его и не усадили на стул.

Ему подали стакан воды. Он выпил, но тут же его стошнило и он, казалось, вновь лишился чувств. Все окружили его. Прошло немало времени, прежде чем он вновь обрел дар речи.

– Вскоре мое тело будет лежать там, и мой восприемник примет жезл из моей окоченевшей руки. Назначьте его как можно скорее. Мои дни сочтены. Мне было предсказано: когда вино, которое ты считал сладчайшим, покажется тебе уксусом, это будет означать, что ангел смерти стоит за твоею дверью. И это вино было горше желчи.

Кампуш отвечал:

– Мы надеемся, что вино по роковому стечению обстоятельств испортилось. Возможно, в бутылку проникла морская вода. Посыльный в темноте не разглядел, что вино замутилось, но если вы желаете подготовиться к смерти, поклянитесь сейчас же сделать для колонии столько, сколько в ваших силах. Мы знаем, что вы владеете огромным состоянием, и у вас нет детей, кроме приемной дочери; составьте сегодня же завещание, укажите ее долю и передайте остальное колонии.

Велью вернулся в чувство и уставился на него. Наконец, он заговорил:

– Я вижу, что вы равнодушно и даже враждебно настроены по отношению к человеку, которым я являюсь. Вы не получите моих денег. Они недоступны для вашей алчности. Но завещание я составлю. Пишите, – продолжал он, обращаясь к обмудсмену: «Состояние Велью отойдет к Макао в день, когда он освободится от владычества Поругалии и сделается частью Китайской империи».

– Вы осознаете, Велью, что выносите себе смертный приговор? Если вы не умрете своею смертью, мы расстреляем вас как бунтовщика.

– Мне всё равно. Вы называете меня бунтовщиком? Разве я не выражаю этими словами последнюю волю лежащего предо мною, того, кто первым высадился на эту землю – Фарриа?

Кампуш приказал ему молчать; некоторые порывались наброситься на него; с трудом был восстановлен порядок, и приступили к обсуждению следующих решений: – удовлетворить просьбу иезуитов о лишении доминиканцев права на поселение и обращение; возвести в закон предложение пяти сенаторов объявить недействительными дотации и наследства, сделанные в пользу духовного ордена, и использовать эти суммы для пользы и на укрепление самой колонии.

Встал Педру Велью:

– Господа, я не принимаю участия в вашей работе. В случае моей смерти достояние мое не попадет ни в ваши руки, ни в руки алчной церкви. Если же я останусь жив, вы заметите, с кем имели дело.

Он покинул подвал сената. Снаружи было промозгло и холодно, в улицах висел густой туман, и Велью словно бы уже ощущал на своем лице влажные смертные пелены.

На следующий день Велью предпринял подготовку к отъезду из Макао. Он нанял большую джонку и велел погрузить в нее всё свое имущество; он не делал тайны из того, что собирался переезжать в Кантон, чего не позволялось ни одному другому иноземцу. Он не мог бы построить дом внутри укрепления, но поселился бы на одном из островов Жемчужной реки.

Население направило петицию Сенату с просьбой убедить Велью остаться. Люди опасались, что торговля перетечет в другое место, если другие последуют его примеру. Многие сенаторы, хотя он и был им ненавистен, предпочитали иметь его среди них, нежели в соседях. Но от Сената после минувшей ночи такая просьба всё же исходить не могла.

Тогда старейшины сами отправились к Велью. Он принял их, угостил добрым вином, которое сперва самолично с многозначительностью пригубил, доброжелательно выслушал их и ответил, что, возможно, еще вернется и что пока не решено, останется ли он в Кантоне, возможно, отправится дальше на север. Но, может быть, он вообще вскоре умрет!

Он отбывал на следующее утро, большая джонка была причалена у насыпи. Когда забрезжило, многие из тех, кто собрался в ожидании на Прае, увидели, что джонка ночью была выкрашена в черный цвет и усыпана белыми цветами. Кто сыграл столь мрачную шутку, осталось загадкой.

Велью с домочадцами явился на пристань, пожал плечами, попрощался со всеми за руку и велел отвезти себя на борт. Цветы были выброшены на воду, и черная джонка отплыла.

Неделей позже джонку пронесло мимо рейда, поперек приливной волны, и она исчезла в океане. Отсутствие Велью и его неизвестная судьба оставались угрозой для Макао. Из торговой деятельности также нельзя было заключить, умер ли он или будет по-прежнему распространять свое влияние из глубины страны.

## Глава четвертая

### I

В самые ранние времена [после открытия морских путей в Индию]<sup>31</sup> суда почти незаметно скользили вниз по Тежу. Команды их в основном состояли из преступников; крайне редко находился священнослужитель малого чина, чтобы благословить перед отплытием корпуса кораблей. Короли в основном делали вид, что не знают об этих рейсах: был один, который, переодевшись, вышел с ними в море. Дела стали обстоять по-другому, когда первые флотилии начали возвращаться с золотом и пряностями; на пристани были возведены трибуны для царедворцев и сиятельных дам, словно прежде, во времена турниров. Теперь же можно было увидеть только начало состязания, но и оно тоже было величественнее: не конные рыцари сражались друг с другом, но большие бурые корабли – с Неведомым. Ставки также были крупнее: теперь не за дело чести бились мужчины. Победитель мог купить замок или землю, и это было лучше, нежели трофей, крест, золотой грааль. И опасность была гораздо больше, вот что было прежде всего притягательно. Немногие возвращались на своих погибающих кораблях; вернувшиеся же недолго досаждали своим невестам восторгами преждевременной старости.

Но кто думал о будущих крушениях, видя щегольски оснащенные корабли и разодетых дворян? Паруса более не походили на грязные рваные тряпки, но были безупречной белизны, с нанесенным на них киноварью крестом.

Ныне кардиналы в пурпурных одеяниях освящали корабли. На прощание звучали тысячеголосые хоралы – еще добрый час после того, как корабли отошли от набережной и течение далеко относило их. Вместо преступников команды теперь состояли из членов благородных семейств, шедших на поиски фортуны. Навигация же не улучшалась. Да Гама предпринял свой первый рейс в качестве никому не известного шкипера, но тогда его недовольное лицо было возбужденней, чем когда-либо потом. Позже он стал гросс-адмиралом, ему приходилось носить роскошный мундир и целовать ручки дамам, сгибать спину перед королем, преклонять колени перед кардиналом; тогда он вспоминал свою команду пьянчуг, и рот его кривился, но это была не улыбка, а гримаса раздражения. На Островах Зеленого мыса были оставлены страдавшие от ностальгии и морской болезни. Почувствовав под ногами твердую почву, они больше не захотели возвращаться на борт, а решили при первой возможности вернуться назад. На Сан-Томе<sup>32</sup> ряды вновь поредели, на палубе образовалось свободное пространство – и лишь тогда Да Гама ощутил, что церемония прощания окончена и начался рейс. В последние годы его жизни интерес к этим плаваниям вновь пошел на убыль, люди привыкли к потокам золота и стали замечать, что страна от этого не делалась богаче – скорее, беднее. Дворянство знало теперь, что не во время приятной прогулки можно стяжать славу, но в исполненном смертельных опасностей многолетнем походе. Лишь прирожденные авантюристы и смертники шли на это. Преступный тип из благородных был наиболее подходящим для профессии завоевателя.

Прощание проходило теперь без большой помпы. Король и двор более на них не присутствовали. Кардинал тоже, но на полуразрушенных трибунах там и сям сидели плачущие женщины. Простой священник в серой сутане, торопливо произнеся молитву, кропил с причала коричневые корпуса кораблей, большинству из которых суждено было вскоре пойти ко дну в неосвященных водах – дав течь, будучи изрешеченными пулями или разорванными на куски

---

<sup>31</sup> У Слауэрхофа не сказано, о каком открытии идет речь; очевидно, об Индии.

<sup>32</sup> São Tomé (*порт.*) – остров в Гвинейском заливе Атлантического океана у берегов Африки. Был открыт португальцами в XV веке.

пороховым взрывом. Старые времена вернулись прежде чем исчезла человеческая раса. Да Гама думал, что в старости вновь обретет потревоженный было покой путешествий, имевших целью только открытия. Став вице-королем Индии, он перед смертью пришел к осознанию, что первооткрыватели превратились в мародеров, что не произошло воцарения Португальской мировой империи, что они добрались лишь до другой Мировой империи, которая переносила нашествие чужестранцев и чинимый ими ущерб, как слон – паразитов и досадную зудящую сыпь, до которой он не может дотянуться, но которая его громоздкому телу не мешает.

Отчего же при отплытии Фернанду Алвариша Кабрала<sup>33</sup> с флотилией из пяти кораблей, из которых только «Св. Бенедикт»<sup>34</sup> возвышался над пристанью, вновь присутствовала половина двора, многочисленные прелаты в праздничных облачениях, сам король и инфант? Ведь не для того же, чтобы показать испанским послам, что у Португалии еще имеются корабли?

Нет, страсть к отплытию, тяга к великим свершениям уже ослабела. Прежде презренные первооткрыватели являлись засвидетельствовать почтение двору. Теперь всё перевернулось. Звучала молчаливая и почтительная просьба: «Не возвращайтесь с пустыми руками. Стало трудно управлять большим государством. Не оседайте на Востоке. Позвольте отечеству наслаждаться сокровищами. Возвращайтесь».

Но большинство отплывающих равнодушно стояли на палубе и не воодушевлялись гимнами, которые затягивали каноники – дрожащими и хористы – пронзительными голосами.

Кабрал отвесил поклон королю, прелат покропил святой водой палубы и тех немногих, что стояли с непокрытой головой на коленях; с носа кораблей уже бросали тросы.

И тут случилось неподвижное.

Высокий старик – никто не знал, откуда он взялся – прорвавшись через охрану, встал между кораблями и двором и произнес – никто не понимал и все вслушивались – проклятие, которое произвело впечатление ожидаемой и наконец разразившейся грозы. Все словно подпало под власть чар. Солнце стояло низко на западе в гряде облаков, загородивших устье Тежу. Его тень, сливаясь с тенью Беленской башни, падала на всех. Хор умолк; старик обратился к кораблям, повернувшись спиной ко двору. Сначала его не было слышно. Но, начав тихо и торжественно, он постепенно переходил на крик...

– Неужто нет лучшего занятия, нежели обращать в веру и истреблять идолопоклонников, живущих на другом крае света! Вы веками изгоняли из страны мавров, но не успеете вы оглянуться, они опять будут здесь. Они стоят и ждут на том берегу. Они тут тоже кое-чему могут поучиться. Они веками искали философский камень. Вы же за двадцать лет превратили в золото лучшую кровь страны. Кто сделался от этого богаче? Даже двор здесь похож на переодетую толпу нищих.

На кораблях одобрительно зашушукались, мертвое молчание царило на пристани.

– Пускай англичане и норвежцы, погибающие в своих собственных странах от нищеты и сырости, отправляются на Восток. Но эта страна плодородна и богата, здесь никогда не бывает ни слишком холодно, ни слишком жарко. У Да Гамы и Албукерки<sup>35</sup> – роскошные усыпальницы и статуи. А их душно было бы вздернуть на виселицу. Так же как и первого, кто поднял парус на корабле и покинул берег. Да будет проклят всякий, кто ищет неизвестное, проклят Одиссей, проклят Прометей!

---

<sup>33</sup> Ferno d'Alvares Cabral (1514—1571) – сын Педру Алвариша Кабрала (Pedro Alvares Cabral) (прибл. 1467—1520) – португальского мореплавателя, первооткрывателя Бразилии.

<sup>34</sup> São Bento (*порт.*) – каракка водоизмещением в 900 т. Потерпела крушение в апреле 1554 в Южной Африке по пути из Индии в Лиссабон.

<sup>35</sup> Афонсу де Албукерки (Afonso de Albuquerque, 1453—1515), прозванный Великим Албукерком – главный архитектор первой европейской колониальной империи Нового времени – Португальской. Путём создания по берегам Индийского океана укрепленных пунктов с постоянным португальским гарнизоном – Гоа в Индии (1510) и Малакки в Малайзии (1511) – Албукерки сумел перехватить у арабов контроль над основными путями евроазиатской морской торговли.

По-прежнему никто не вмешивался. Но на «Св. Бенедикте» кто-то влез на фальшборт и крикнул: «Оставьте в покое классиков, отец. Мы всё равно уйдем, нам неохота всё время сидеть на берегу, хотя тут очень даже недурно».

Теперь заклятие было нарушено, все заговорили одновременно, пронзительно и громко смеялись придворные дамы.

Старик более не был взывающим к покаянию пророком, но несчастным бедняком, который у края воды страстно умолял, причитая: «Луиш, не покидай отца, не уходи. Через год ты сможешь продать наследные владения и делать что хочешь... тогда меня уже не будет в живых!»

Солдаты оттащили его.

На борту никто не восхищался стоицизмом Луиса. Матрос с грубым окриком отогнал его от фальшборта.

Началось маневрирование. Офицеры приказали команде петь и отдавать швартовы. Из пения ничего не вышло. Но вскоре корабли были уже далеко от причала, придворные стали подниматься с трибун и торопливо устремились домой. Пристань опустела еще до того, как они скрылись из виду. Никто больше не оборачивался.

Только Луис, которому нечего было делать, стоял на ахтерштевне, не отрывая взора от удаляющейся земли. Башню Белена он принимал за своего отца, который остался на прежнем месте. Ложный стыд заставил его совершить этот трусливый поступок. Теперь его отец скоро умрет, Диана станет королевой и забудет его. Он не собирался возвращаться героем и принимать участие в дурацкой комедии, разыгрываемой при дворе.

Но поэтому ли он теперь расквитался с прошлым?

Птицы еще некоторое время следовали за кораблем, берег казался теперь туманной коричневой полосой. Скоро он совсем скроется из виду. Но, казалось, они, те, от кого он хотел бежать, преследовали его, словно всякий раз пересекая его путь, и в скором времени на узком корабле сделается слишком тесно для них. Расширит ли разлука это пространство?

Глаза его наполнились слезами, думы – строками. Он укрылся в своей каюте. Дабы умиротворить отца, по-прежнему стоявшего у него перед глазами так, как он стоял на берегу – сначала грозный и величественный, потом умоляющий и ничтожный, – он начал писать, пытаясь переделать мучительную сцену в великое пророческое событие, – но ему это не удалось, он не справлялся с трудными строками, его терпения на это не хватало. Вместо этого в мозгу у него звенело:

*Навеки с Родиной простившись,  
Кричину взяли мы с собой...*

Но дальше этого тоже не пошло.

Он снова вышел на палубу; она была пуста и блестела от влаги в лунном свете; берега, которые он помнил теплыми и коричневыми, теперь проплывали вдали, мертвенно-бледные. Иногда мимо проходил матрос, не приветствуя его, отталкивая его, если он стоял на пути. Он видел другие корабли – маленькие, черные, затерянные в море, словно они были такими же отверженными, как и он; единственные молчаливые друзья, которые еще остались у него. Потом он подумал, что существовали корабли, на которых было даже теснее и хуже, чем здесь. Сон казался ему единственным делом, которое могло бы удаться ему, но и это получалось плохо.

## II

Рано утром он снова стоял на палубе, море было пустынно. «Св. Бенедикт» являлся единственным хорошо оснащенным парусным судном, остальные были не более чем принаряженными развалинами. В Мозамбике к ним примкнул оставшиеся. Стало быть, и эти далекие друзья были потеряны.

В сущности, ему не на что было жаловаться, он шел на самом большом корабле, где пища, по крайней мере сейчас, была хорошей; он пользовался всеми правами, приличествующими его рангу. Он сидел за столом по правую руку от посланника, дважды в день инспектировал свою пехотную роту, которая выстраивалась вдоль фальшборта, и посещал прохладную рулевую рубку на юте, где проводил много времени, по-прежнему размышляя о былой жизни и часто оплакивая ее. Его страстное желание увидеть Восток уменьшалось по мере того, как они приближались к нему.

Ванты<sup>36</sup> бизани<sup>37</sup> свисали рядом с его каютой над фальшбортом. Двадцать одинаково широко натянутых перлиней<sup>38</sup> и тонкие выбленки<sup>39</sup> между ними служили арфой ветру. Камоэнс охотно прислушивался к вздымающемуся, потом затихающему, гремящему или свистящему, но никогда не стихающему пению.

Движение корабля – большой «Св. Бенедикт» тоже шел по волнам – против постоянно вздымающейся океанской зыби не вызывало в нем тошноты, как втайне надеялись его сотоварищи-офицеры. Однако он много дремал, не привычный к узкой лежанке под низким потолком каюты.

Однажды утром перед ним возникли Острова Зеленого мыса – первые места высадки, обнаруженные в Средние века во время неуверенных разведывательных рейсов, без компаса и секстана. Теперь это был первый рейд в многомильном пути. Камоэнс, однако, рассматривал их с чувством, словно он уже бесконечно далеко был от отчизны, и здесь был его последний шанс повернуть назад, чтобы избежать угрожающей катастрофы. У него было то же чувство, что и несколько месяцев назад, при отплытии из Лиссабона по Тежу: дать кораблю отойти без него и спрыгнуть с причала. Теперь – дать уйти без него флотилии и раствориться в глубине страны.

На Фогу<sup>40</sup> остались на день для погузки. Он один вышел на пристань. Город лежал в стороне от места высадки. Он направился прямо к раскаленной горе серых руин, одержимый желанием узнать, что лежало за ними. Так, он перебрался еще через две каменные гряды и, следуя то по складке местности, то по направлению тени, в конце концов пришел в долину, в розовый сад, роскошнее, чем в Алгарви<sup>41</sup>. В этом ароматном одиночестве, в гротах сросшихся бутонов и цветов он провел день, непрестанно думая: «Лучше всего было бы мне здесь покончить с собой». И, когда он, наконец, направился назад: «Это последняя красота, которую я видел в жизни». Он торопливо перелез через гребень, в наступающей темноте спустился с горы обломков, изранив ноги. Он почти надеялся, что вывихнет лодыжку, и совершил рискованный прыжок с камней. После чего медленно взобрался на последнюю цепь холмов, присел, попытался уснуть: а вдруг корабль уйдет без него. Затем послышались голоса, мимо прокрались двое, Журоменья и Маргаду, оба привнесли на борт большую пышность, каждый день новое облачение, три лакея... Камоэнс поспешил на борт, испугавшись собственной трусости.

---

<sup>36</sup> Снасти, которыми укрепляются мачты; также служат для того, чтобы взбираться по ним на мачты.

<sup>37</sup> Кормовая мачта.

<sup>38</sup> Пеньковые канаты.

<sup>39</sup> Пеньковые, деревянные или металлические распорки, крепившиеся между канатами вант.

<sup>40</sup> Один из островов Зеленого мыса.

<sup>41</sup> Регион в Южной Португалии.

Корабль не отходил еще долго. В каюте висела полдневная жара, всю ночь с грохотом и суматохой шла погрузка.

Ему снилось:

Мое достоинство принизилось; я – худший из людей и должен работать и покорствоваться за ничтожное жалованье. Но сейчас я могущественнее, нежели тогда, когда с трудом подыскивал слова и поверял их бумаге. Теперь я подбрасываю их в пространство; они проделывают бесконечные расстояния на вибрации, которую я беззаботно пробуждаю собственной рукою. Они огибают мир, они падают вниз так, как я того пожелаю – словно небесная манна. Отчего же я не чувствую себя Богом – но потеряннным, униженным среди людей, которым я должен подчиняться?

Он проснулся. Суматоха погрузки прекратилась. Он снова заснул.

Сон всякий раз возвращался. Сперва на голове у него был тесный колпак, затем он почувствовал, что корабль был больше не из дерева, но из раскаленного железа, а команда его состояла из существ, которых он никогда не видел на земле, хотя и белых, но говорящих на другом языке, одетых в странные обтягивающие одеяния.

Он проснулся. Погрузка продолжалась с еще бóльшим рвением. Приближалось утро, а люди всё еще не управились.

Опять тот же сон... теперь толпа желтокожих людей вторгалась в узкую каюту, которая уже была заполнена странными предметами, еще и еще, каюта вот-вот треснет. Этого не произошло, но ее сжимали всё больше и больше. Внезапно она оказалась одна в большом пустынном пространстве, казалось, сейчас она распадется на части.

Он проснулся. Выбирали якорь; пели шпильгангеры<sup>42</sup>. Теперь он погрузился в глубокий сон без сновидений и проснулся лишь тогда, когда корабль был в открытом море. Розовый сад остался позади, за серыми взгорьями, еле видный над поверхностью моря.

На следующий день в адмиральской каюте были вскрыты запечатанные приказы. Сначала следовали обычные предписания: зайти на Мозамбик, погрузить фрукты и, если получится, невольников, оставить на берегу больных. Затем – письма для губернатора Калькутты и для вице-короля Гоа. На этом обычно всё заканчивалось. Но теперь из ларца появились еще два письма. Кабрал и капитан недовольно переглянулись: ни один из них не любил читать, особенно приказы. Адмирал прочел первую бумагу, передал ее капитану, но тот не желал напрягаться и спросил, что там было написано.

– На Гоа еще не всё кончается, нам следует проследовать дальше, в Малакку, а те, что придут за нами, должны направиться туда прямо с Мозамбика.

– В Малакке больше можно взять, чем в Гоа, там мы уже сидим пятьдесят лет, Малакка богата, а население слабо.

– В Малакке мы тоже не останемся, оттуда нам нужно в Макао.

– Не бывало еще такого, чтобы корабль вдруг из Лиссабона шел напрямик в Макао. Да это и невозможно, мы слишком обрастаем. В Малакке нам нужно пробыть на суше по меньшей мере месяц, чтобы отскрести обшивку.

– Таковы предписания. Мы не смеем задерживаться в Малакке дольше чем на неделю.

– За этим что-то кроется, давайте прочтем последнее письмо, может быть, оно что-нибудь прояснит.

Это было предписание, скрепленное королевской печатью. Кабрал, казалось, при чтении взволновался. Он провел рукой по лбу, передал письмо капитану и сказал:

– Прочтите сами.

---

<sup>42</sup> Матросы, вращающие кабестан (шпиль) – механизм для передвижения груза на парусных судах (в данном случае якоря). Для достижения координации матросы пели.

– Так я и знал, – рассмеявшись, сказал тот. Но внезапно улыбка сошла с его лица. – Они, разумеется, желают услатить его как можно дальше, вот почему нам вместо того, чтобы оставаться неподалеку, предписано идти к чёрту на кулички; если не попадем в тайфун, всё, что у нас есть, придется отдать; они там всё в ход пускают, с пустыми трюмами в Японию, с грузом назад, год пробудем в пути, и ничего не улучшилось, кроме фрахтовой премии. И всё из-за этого отщепенца. На вашем месте я оставил бы его в Мозамбике.

– В приказе об этом не сказано.

– Цель в том, чтобы он исчез, чем раньше, тем лучше.

Камоэнса вызвали в каюту. Кабрал, держа в руке письмо, соболезнующе взглянул на него.

– Это касается вас, дон Луиш. Король желает, чтобы вы совершили рейс как заключенный, служили солдатом и в далекой Восточной Азии.

Камоэнс уставился на него непонимающим взглядом.

– Прочтите сами. – Адмирал протянул ему письмо. Его глазам предстала королевская месть (или ревность инфанта), четкими буквами трезво изложенная рукой безымянного писца.

Возник спор о значении слова «заключенный». Адмирал настаивал на том, чтобы Камоэнс оставался в своей каюте, по вечерам пребывал под надзором по палубе; шкипер же считал, что он должен быть заключен в трюме, скованный, до самого прибытия; ведь его предназначение – быть отданным в солдаты – накладывало на него клеймо обычного заключенного!

Адмирал проявил свой авторитет. До Мозамбика Камоэнс оставался в каюте. Эту гавань он видел из дверей.

Спустя четыре дня корабль встал на якорь. Все флаги были приспущены. Под пение литании и гром почти сотни пушек тело адмирала было спущено с юта в воды Индийского океана. В этот же день Луис Камоэнс был перемещен в трюм, в вонючую сырую дыру, предназначенную для мятежников и грабителей. Так он провел вторую половину путешествия. Он не видел ни Гоа, ни Малакки; стоянка корабля, доносившийся до него приглушенный гвалт были единственными впечатлениями, которые остались у него от этих гаваней.

Это было славное вступление на Восток.

Пока остальные заключенные мастерили из фруктовых косточек птичьи клетки, из щепок – модели кораблей, он проводил время за чеканкой строф поэмы, которую намеревался было бросить навсегда. Поскольку он не видел чужих земель, ему, подобно другим заключенным, обходившимся импровизированными инструментами, приходилось помогать себе мифологией, чтобы расцветивать и плести свою историю. С отвращением прибегнул он к этому спасению. Однако мало-помалу он всё же стал втягиваться в работу, – единственное, что помогало ему коротать долгие часы.

Переход из Мозамбика в Малакку длился почти два месяца; ветрб не благоприятствовали. Два месяца! Камоэнс начал забывать, что когда-то жил на суше и был свободным. Казалось, что он с незапамятных времен сидел скорчившись в этом зыбком трюме, со смятой бумагой на ноющих коленях.

### III

Илья-Верди.

Спустя три дня после того, как мы покинули стоянку в Малакке, я был освобожден. У меня развилась светобоязнь, сначала я с трудом двигался, но не впал в уныние, ожесточившись до чрезвычайности, исполненный решимости не сдаваться, воспользоваться случаем не порадовать короля моей бесславной гибелью. Некогда я лелеял надежду на возвращение, пусть много позже, в новом благородном звании, на гребне удачи. Я надеялся, что, когда я предстану перед ним со своими соратниками, он всё еще будет восседать на троне, старый,

вялый, безотрадный... пожираемый хворьями властитель обнищавшей страны. Шрамы наши будут столь многочисленны, что не останется места для наград; наши завоевания, оставленные позади, будут столь велики, что Португалия по сравнению с ними покажется ничтожной, маленькой страной! Вскоре после этого последнего посещения в качестве блудных сыновей мы без угрызений совести и с богатством снова погрузимся на корабли и направимся к нашей собственной, самостоятельно завоеванной земле, чтобы навсегда остаться там и умереть, в пышности, поддерживаемые армией. Но что было мне с того проку, если приходилось лезть на мачту, чтобы затекшими конечностями помогать брать рифы, брасопить реи и выполнять другую грубую работу, которой я не был обучен.

До моего заключения палубы и помещения были полны матросов. Свободные от вахты путались у других под ногами. Теперь же едва хватало людей для маневрирования. Даже черные рабы обязаны были помогать. Из-за болезни ли или из-за дезертирства стали люди на вес золота? Один корабельный врач поведал мне, что причиной столь многих жертв была прежде всего цинга. Новый адмирал был человек усердный. На Мадагаскаре, где большей частью пополняли запас свежего мяса и овощей для долгих переходов, мы не высаживались. Запасов оказалось недостаточно. Смертность была огромной: за несколько дней сотни человек. Многие корабли лишились более чем половины команды. Не хватало парусины, чтобы зашивать в нее мертвые тела, ядер для груза в ноги, времени, чтобы всякий раз ложиться в дрейф. Каждое утро убирали мертвецов; шестеро матросов, которые за тройное жалование исполняли эту работу, перетаскивали тела на среднюю палубу и сталкивали их в открытую амбразуру. Стая акул, следовавших за кораблем, неуклонно росла.

Как могли они оставаться в живых там, внизу, куда не проникал свет, где они никогда не получали фруктов? Существовало ли молчаливое согласие между бедами, которые должны были случиться и которые нет?

Дабы сохранить здоровье оставшихся и ввиду приближения к цели теперь нам ежедневно выдавали по лимону и огурцу. Я съедал их с большим наслаждением, нежели прежде самые изысканные яства. Я упивался свободой – в основном ветром – и не огорчился из-за моих израненных ладоней, воспаленных глаз и десен. Я надеялся, что шторм своевременно освободит меня, ибо знал, что как только мы придем в Макао, меня отправят в тюрьму.

Однажды, когда я драил палубу, мимо проходил капитан. Я с удовлетворением заметил, что он исхудал. Я поднял голову и, не посторонившись, взглянул ему в глаза. Его рука метнулась к моему горлу, но он передумал, сплюнул и прошел мимо. Мы оба рисковали жизнью: он – из-за моих жаждущих рук, я – из-за конопляного стропа, всегда лежащего наготове. Его трусость спасла ему жизнь, и мою тоже.

После Малакки погода улеглась. Море волновалось меньше, чем на другом краю полуострова, и часто стоял полный штиль. Ветер был слабым, но непрерывным. Однажды мы проходили мимо побережья Камбоджи, на другой день море опять было пустынно, и я знал, что как только на горизонте появится берег, по окончании рейса возобновится мое тюремное заключение. Погода становилась всё тише, ветер слабел, море вытягивалось медленными, ленивыми длинными волнами, и на корабле чем дальше, тем больше опасались, что это предательское спокойствие сулит шторм, прямо перед побережьем Макао. Чем дольше длилось затишье, тем сильнее становился страх, что до прибытия разразится буря.

Это было на Пасху. Пропели торжественную службу; люди расхаживали со священными стандартами, освященными папой. Желаящие могли поцеловать кайму флага. Большинство целовало, на всякий случай.

Ночью начался шторм. В полночь, когда закончилась моя вахта, было еще тихо, но совершенно темно и пбило, словно полная луна и закатившееся в пожаре солнце слились в плотном слое облаков, и пламя небесных светил, не пробиваясь сквозь него, тлело вблизи от земли. В кубрике почти никого не было, в основном люди спали на палубе или в жерлах пушек, где

всегда сохранялось немного прохлады. Смертельно больные и умирающие лежали в койках и, заслышав меня, хрипло умоляли дать им воды. Я раздал им, что мог найти, и затем сам свалился, впавши в беспамятство от духоты, подавленный предчувствием, что скоро мне предстоит вновь пробудиться и уже много часов не спать. Наверно, это продолжалось очень недолго, я проснулся, лежа на дощатой перегородке, отделявшей кубрик от носа корабля. Больные вцепились в меня, перегородка внезапно из пола превратилась в потолок, мы откатились, кубрик был уже наполовину наполнен водой, я ухватился за трап, не выпуская его, стряхнул с себя всех и, покрытый синяками, исцарапанный и, возможно, зараженный, выбрался на палубу.

Галеонная фигура<sup>43</sup>, кресты не помогали; кто думал о них при таком ветре, который теперь задувал со всех сторон, прерывая дыхание и всё, что не было закрепленным, швырял на палубу и затем вновь взметал в воздух, словно самая атмосфера этой части земли улетучилась.

Волны поначалу накатывались довольно медленно и регулярно, точно плавучие горы, корабль шел, не снуя вверх-вниз, порой замирая, порой почти плашмя ложась набок. Потом его обступили водяные горы, которые обрушивались все одновременно, так что он постоянно оставался под ними.

Поначалу я был благодарен происходившему, тому, что я переживал это неистовство, что разрушался корабль, на котором меня шесть месяцев держали в узниках, где у меня отняли всё, что я имел, от рубахи до имени, но через пять минут упоение свободой прошло, и я жаждал лишь покоя и тишины, оставив все мысли.

Когда шторм утих, берег по-прежнему был в виду. Ветер снова улегся, но волны всё еще перехлестывали через борт корабля. Ночью мы видели мерцание отдаленных рассеянных огней и большой неподвижный свет над ними – там был Макао со своими сторожевыми башнями. Я опасался, что мы всё-таки войдем в охраняемую гавань. Я забился в угол на юте, немногие уцелевшие еще лежали у фальшборта. Но кораблю не суждено было более увидеть дневной свет. Около четырех часов его приподняло и швырнуло в накативший вал, отбросило назад, пушки раскатывались от борта к борту, некоторые разряжались. «Св. Бенедикт» быстро затонул, увлекши почти всех за собой. Только те, кто своевременно ухватился за доску или буй, еще держались на воде. Я дрейфовал на давно припасенном бочонке. В нем лежали несколько корабельных сухарей. И... моя рукопись.

Вновь наступил день, теперь над пустынными водами. Берег был далеко, остров, на который нас швырнуло, исчез. Силы мои начали иссякать, поскольку бочонок постоянно переворачивался, и я то и дело погружался в воду. Но предчувствие того, что я еще не погибну в этой авантюре, заставляло меня держаться, и через несколько часов мне стало ясно, что волны относили меня в направлении бухты. Теперь, издали, я мог различить город, не слишком отличавшийся от маленькой португальской или испанской гавани. Кораблей в ней было немного, но полно джонок того типа, который я уже видел прежде: низкий нос, высокий штевень, пышные паруса. Город я рассматривал как часть родины; лучше бы мне увидеть китайскую гавань.

Напротив, частично закрывая бухту, лежал длинный остров – низкие берега, горная вершина в центре, около пятисот метров высотой. Он казался заброшенным; там и сям небольшие заросли – можно ли будет найти на нем укрытие? Медленно я стал грести с моим крутящимся бочонком в этом направлении и, после бесконечной борьбы, с трудом плывя, полузадыхаясь, достиг берега. Я прошлепал до сухого места, неся на плечах свои пожитки. Передо мной были заросли кустарника. Я продирался метров сто, затем обессилел, и сон сморил меня.

Очнулся я в наступающих сумерках, а скоро и совсем стемнело, так что я лежал неподвижно. Посреди ночи я выполз из кустов на берег. Но огней на той стороне я не увидел. Туман? Застит ли мне глаза? Не опасаются ли там нападения? Меня все-таки тревожило, что

---

<sup>43</sup> Резная статуя на носу корабля.

огни больше не горели. К тому же я ощущал сильную слабость, я еле-еле поднялся на ноги, – но, оказавшись пленником этого острова, решил этой же ночью разведать его. Теперь слабо светила луна. Я поел сухарей, однако, несмотря на сильное истощение, голода не ощущал. Я понял, что захворал, и испугался, что болезнь вскоре совсем одолеет меня. Кости мои ломило, десны вспухли и кровоточили, из-за привкуса крови во рту меня подташнивало. Так, шатаясь, я отправился в путь. Стоял мертвый штиль, море, теперь совершенно спокойное, шуршало вдали. Я нигде не видел домов, не мог найти дороги. Я взобрался на пологий откос. Из зарослей до меня донеслось приглушенное мычание. Неужели там, в чаще, есть дом?

Это была застрявшая в сетях молодая корова. Я распутал животное, но, вовремя передумав, вновь связал и попробовал подоить. Вздвогнув, я вспомнил, что парное молоко – средство от цинги; стало быть, я чуть было не упустил свой шанс на спасение! То небольшое, что мне с трудом удалось проглотить – я почти не мог раскрыть рта – помогло мне. Я запомнил место, где стояла корова, и побрел дальше. Теперь я достиг края регулярно засаженного поля. Растения были мне незнакомы, но я всё же поел их, сырыми и немытыми, ища спасения; возможно, я заболел еще серьезнее.

Так брел я, пока мне не стала угрожать новая опасность – быть замеченным, ибо уже рассвело. Я нашел расщелину в камнях и провел день в дремоте и судорогах. Иногда я выглядывал наружу, но не видел ни единой живой души.

На следующую ночь корова исчезла, но я нашел другие корешки, получше, и, наконец, набрел на хижину. В течение последующего дня я наблюдал за ней из-за деревьев. Хижина казалась пустынной. Ночью я проник в нее и обнаружил в глиняных мисках пищу. Я был голоден, но пища оказалась отвратительной. Лишь тогда я осознал отчаянность моего положения: мои собратья по расе заключат меня в тюрьму, китайцы меня не поймут, и на их пище я не проживу. В море я вернуться не мог. Пока я раздумывал об этом, в ушах у меня зазвенело, и я лишился чувств. Я хотел подняться, но не смог и остался лежать на бугристом глиняном полу.

## IV

Китайские крестьяне, вернувшись с уборки урожая и обнаружившие в своем доме белокурого варвара, не убили его, но и не выдали. Они позволили ему расхаживать, где вздумается, не препятствовали собирать и есть овощи и доедать остатки риса из чашек. По их жестам и лицам было не понять, видели ли они его вообще. Это непризнание его существования было для Камознса еще болезненнее, чем враждебность или тюрьма. Казалось, он попал на другую планету, жители которой, обладающие иными чувствами, не осознавали его присутствия. Он не мог поддерживать связи с этим внешним миром ни с помощью улыбки, ни с помощью жестов или речи. Это было одиночество, ужаснее, нежели одиночество посреди моря или в ледяной пустыне, более гнетущее, нежели заключение в трюме. И всё же, невзирая на эту духовную пытку, его физические силы мало-помалу возвращались к нему. Движимый инстинктом, он взобрался по склону на вершину острова. Откос не был крутым, но Камознс настолько ослабел, что восхождение заняло несколько дней. На городской стороне откос спускался вниз довольно круто, сверху была видна бухта и окрестности. Только теперь Луис мог окинуть взглядом новый мир.

Невзирая на его несчастья, просторная перспектива давала ему некое ощущение освобождения. Кругом из воды возвышались острова, вдали виднелся материк, на другой стороне лежал город на трех холмах. На вершине одного стоял маяк, сиявший во тьме над городом; на втором, в угловатой гирлянде, бруствер цитадели; на третьем – собор с большим крестом на верхушке. Внизу был сам город: белые, коричневые и серые здания, между которыми – мрачные обломки скал и купы деревьев. Перед городом шныряли тесные стаи джонок; даже

когда рыбацкая флотилия, спасаясь от атлантического шторма, укрывалась в Тежу, не видно было такого количества мачт одновременно.

Под ним, на острове, были разбросаны похожие на остроконечные седла рыбацкие хижины, на песчаном берегу – высоко поднятые сампаны<sup>44</sup>. Луис осмотрел линию берега насколько мог вдаль, и на одном конце, в зарослях, приметил нечто, похожее на белый платок. Это было для него, как парус для утопающей жертвы кораблекрушения: туда и только туда, неважно, чей это парус: пиратский или дружеский. Он спустился с вершины и попытался проследовать кратчайшим путем. Но ему приходилось избегать деревень и обходить пропасти, и в конце концов он совершенно сбился с пути, так что ему пришлось вновь забираться наверх, чтобы найти дорогу назад; он теперь попробовал следовать под спуском, но снова тщетно.

К ночи, слишком усталый, чтобы идти дальше или искать укрытия, он вырыл нору в поле и прикрылся листвой; он был чересчур обессилен, его лихорадило, и он не мог уснуть. Посреди ночи откуда-то очень издалека до него донеслось неясное пение. Он приподнялся и вслушался; не иначе как это ночной ветер донес звук, потому что когда ветер стихал, ничего не было слышно. Камознс выбрался из ямы и пошел против ветра, останавливаясь, когда тот стихал, и двигаясь дальше, когда он возобновлялся. Но звук становился всё слабее и слабее, к тому же начался дождь, сделалось светлее и он обнаружил, что стоит по-прежнему на том же мрачном поле. Ветер сменился; и ветер и дождь объединились против него. Он провел день в своей яме. Ночью началось то же самое: он притворялся, что не слышит, и погрыз несколько корешков; звук усилился, он забрался еще глубже; но звук продолжался, и в конце концов он высунул голову. Было безветренно, так что ветер не мог обмануть его; он осторожно двинулся на звук, заметив, что идет по руслу ручья. Внезапно звук вновь прекратился, но он продолжать идти по ручью и уперся в высокую стену. Он на ощупь двинулся вдоль нее, но руки его не встретили двери, почва внезапно провалилась под ним, и он очутился по колено в воде. Теперь он стал исследовать стену с другой стороны. Он вновь попал в воду, но заметил, что она не становилась глубже; вышла луна, так что он рискнул идти дальше. В конце концов стена завернула внутрь. В лунном свете он разглядел небольшую беседку, чуть возвышающуюся над водой: стройная изогнутая крыша на шести тонких пилястрах, между которыми висели цветочные гирлянды, покачивавшиеся на ветру.

Он с трудом поднялся в беседку, и ему пришлось лечь, чтобы отдышаться. Поднявшись, он заметил, что его грязная промокшая одежда оставила жирные отпечатки его тела на мозаичном полу.

Он словно бы увидел свое нынешнее существо в зеркале; попытался вытереть грязь с чистого пола, но ему это не удалось, и на какой-то момент печаль овладела его притупленным расположением духа, но вновь была вытеснена стремлением двигаться дальше.

Узенький мостик без перил был перекинут на другой берег через три-четыре валуна. Под ним вокруг камней бурлили волны. Он, шатаясь, перешел через них и вновь уперся в стену. В центре ее было решетчатое овальное отверстие, брусья обвивали усики винограда, а за ним расстилалась зелень сада.

Он тряс прутья решетки, один за другим, они не поддавались. Отчего ему хотелось туда, внутрь, ведь там могла быть тюрьма? Ведь ужаснее голода и одиночества во внешнем мире не было ничего! Он поскользнулся, держась за наружный прут, решетка повернулась и он кувырком влетел в сад. Загородка закрылась за ним, ветви и гроздья листья отталкивали его, для него едва находилось место между стеной и наружными кустарниками, никогда прежде не слышанные запахи испугали его, как предчувствие существования при таких тяжелых условиях, какие он никогда не смог бы выполнить.

---

<sup>44</sup> Дощатые плоскодонные лодки.

## Глава пятая

### I

Когда бы человек умел в мыслях призывать к себе смерть с той же легкостью, что и любовь, то многие ложились бы ночью спать, чтобы никогда более не проснуться. Но тело слишком сильно: при малейшем движении – бросаясь к оружию, наливая глоток в стакан – оно сопротивляется и отстаивает свою вялую привязанность к земле, – возможно, наиболее упорно, будучи поражено смертельным недугом. К счастью, дух всё же может освободиться, пусть даже и не навечно, он может пересечь поток забвения, оставить позади страдания и, вернувшись в тело, не узнать более того, что пришлось перенести ему в его компании, в его плену. Прежде всего когда человек только что переплыл океан, не видел и не слышал ничего, кроме воды, воздуха, гниющего дерева, оглушен трехдневным штормом и многонедельным голодом и скитаниями. Возможно, в росших окрест сорных травах в пределах моей досягаемости было с десятков смертельно ядовитых. Я не срывал их.

Когда я, наконец, вновь поднялся на ноги, с меня посыпались сухие листья и комья земли, вспорхнул целый рой насекомых, длинные черви медленно поползли с моих ног.

Паразиты покидали тело, которое уже наполовину покоилось в земле, но более не хотело оставаться трупом. Между стеной и деревьями пролегал узкая, глубокая дорожка, по которой можно было идти только сбоку; при этом я, словно слепец, терся о стены, ветви шипами терзали и раздирали в клочья лохмотья, оставшиеся от моего платья, крапива вызывала зудящую, жгучую сыпь на коже в тех местах, до которых еще не добрались комары. Изодранный, я, наконец, выбрался на место в зарослях, некогда бывшее прогалиной; оно было завалено мертвыми стволами – мелкаячестое, плотное переплетение лиан пронизывало пространство на высоту человеческого роста.

На другой стороне открылась аллея.

И туда тоже мне пришлось продирааться. Я прошел по аллее и остановился у полуразрушенного здания; оно было одноэтажное, однако из камня. Охотничий домик, где мы виделись с ней! Более я ничего не знал, лето ли стояло, осень, – скорее всего последнее, ибо я дрожал и был покрыт холодной росой.

Внутри, должно быть, тепло, и нет насекомых, никаких людей со всех сторон, никакого гама, что слышал я в деревнях на острове, не понимая значения. Дверь была закрыта, но окно на задней стороне, как правило, было распахнуто; и теперь тоже. Диана уже никогда больше не придет сюда. Тем лучше. Внутри всё было перестроено, комнаты переходили одна в другую. Прежде было лучше; тогда все они выходили во внутренний двор: тогда ты знал, где находишься, можно было захлопнуть за собой дверь, скрыться, если на тебя напали. Всё едино: там стояла большая, грубо сколоченная деревянная кровать; кувшин с зацветшей, мерзко пахнущей водой; она не годилась для утоления жажды, но ею можно было омыть особо раздраженные участки кожи.

Трясущиеся руки стянули с тела всё, что еще уцелело от платья; груда тряпья упала на пол. Ничего больше не сохранилось от человека, пустившегося в плавание, дабы покрыть себя славой, – лишь это ущербное, изнуренное тело. Единственное, чем оставалось мне прикрыть срам, был глубокий, тяжкий сон, который не отпускал меня, когда я очнулся.

Я не мог шевельнуться. Сквозь щели ставень, косые и параллельные, словно решетка, падали лучи света на фигуру, сидевшую на корточках у стены и пристально разглядывавшую меня узкими, блестящими зелеными глазами. В комнате висел запах, но не ладана: более густой, более дурманящий...

Несколько часов я лежал неподвижно, не из-за страха перед охранником, но из-за боязни пробить брешь в стене молчания и вновь впасть в существование, с которым я надеялся покончить. Внезапный порыв ветра распахнул ставни. Вместо статуи Себастиана в нише сидел святой, не походивший на изнуренные, искаженные фигуры с аскетическими членами и экзотическими, мертвенно-бледными ликами с запавшими глазами, которые я до сей поры почитал святыми. Этот же казался карикатурой на старых знакомцев и ситуацию, в которой я находился. Я поднялся на ноги и внезапно увидел Себастиана, отступившего далеко в стену, – казалось, он перенес еще больше страданий с тех пор, как я видел его в последний раз; тогда он был близок к смерти, которая теперь, должно быть, была далеко позади. Я подошел ближе; прежде я испытывал к нему отвращение, теперь – симпатию. Он определенно тоже это чувствовал, он двинулся навстречу. И всё же я опасался его; я простер руку, чтобы поприветствовать его или оттолкнуть; не знаю. Это была моя собственная фигура в обшарпанном зеркале. Я обернулся; толстяк святой по-прежнему незыблемо восседал в своем низком кресле; кончики пальцев сведены, но брюхо жирными складками свисало на бедра, на губах – сальная улыбка, словно он посмеивался над собственной святостью, переварив знатный обед, и на следующей расписной ширме, насколько я мог видеть, являл собою старика, лысого, с длинными усами; восседая на небольшой лошадке, он на конце сгибающейся трости протягивал книгу двум склоненным фигурам, стоявшим на другом берегу некоего пурпурного потока: всё, что могла передать остающимся его уходящая жизнь. Вместо копий и мечей здесь были развешены веера и павлиньи хвосты. Вместо старой пышной мебели – изящная тростниковая, покрытая лаком; и все же назначение многих предметов было мне непонятно. Другие манеры и жесты придется выучить, чтобы жить в их окружении.

Вместо радости от того, что прежде, принесшее мне лишь скорби и несчастья, полностью и навсегда исчезло, на меня нахлынула подавляющая тоска, словно море на тонущий корабль, как второе крушение.

Только постель была всё той же, в этом я мог поклясться, и я продолжал лежать, словно на острове, единственный оставшийся после всепоглощающего всемирного потопа.

Но вдруг я с дрожью осознал свою наготу. Я увидел, что перед постелью лежала одежда, подтянул ее к себе и оделся. Она широкими складками свисала с меня. Это была униформа; знаки отличия, которые я до моего отбытия надеялся завоевать, были нашиты на рукавах и плечах. Разве это не издевательство? Грубая подкладка саднила мою израненную и раздраженную кожу: это одеяние унижало меня более, чем когда-либо; я в ярости отбросил его. Чем носить такое, я лучше навсегда останусь голым. На всю жизнь, как долго? Но перед кроватью лежало еще кое-что: пища. Я жадно набросился на нее, схватил кувшин, – а вдруг там оставалась еще капля муты? В кувшине была свежая вода.

На полу лежало еще какое-то платье: длинное широкое одеяние. Я надел его, – оно оказалось сносным, но в нем я показался самому себе чужим. Всё же я не снял его, но через окно выкарабкался в заросли, чтобы прийти в себя. Растительный мир, по крайней мере, не стал мне совершенно чуждым.

Но теперь меня подавляли тяжелые, незнакомые запахи, я всё время спотыкался о предательские корни, мне мешало длинное одеяние. Мне хотелось отдохнуть, спрятаться среди деревьев, но это уже была не осень, стояла жара; я искал тени, листва была раскаленным чадом, почва, казалось, жила и пылала изнутри, легионы муравьев надвигались со всех сторон – кусачие, огромные красные муравьи, пауки падали с ветвей, и вновь зазвенели комары. Я бросился бежать хоть на какое-нибудь открытое место, вновь внезапно очутился перед изгородью, вцепился в прутья, чтобы выбраться из этого непереносимого рая адских мучений, хотя снаружи не видел ничего, кроме моря, другого ада. Ограда в этот раз не подавалась. Я снова обернулся, пошел было по аллее, но внезапно ноги мои подкосились, и я застыл, словно обратившись в дерево.

В конце аллеи, под листвой, осененной снопом света, словно мадонна в зеленой нише, стояла Диана.

Я подкрался к ней, как пантера к дичи. Теперь она не убежит от меня, не растает в облаке, не сольется с лесом. Она не шевельнулась; казалось, она со вниманием склонилась над чем-то, цветком или книгой, какая разница?

Еще один прыжок; она обернулась, и я отшатнулся. Это была Диана, но глаза у нее были раскосые, как у китайки.

## II

Пилар не спала с тех пор, как ушел ее отец, оставив у двери стражу. Она дожидалась предстоящего нападения. Человек, который должен был препятствовать ее бегству, спал, а если и не спал, то глаза его были закрыты. Золото – тоже прекрасное снотворное. Это тянулось долго, но Пилар знала и травку, прогонявшую сон. И все же она почувствовала облегчение, когда, наконец, увидела, что копыеносец ушел, и немного позже разглядела в листве неуклюже карабкающуюся тушу. Теперь у нее появилась причина оставить отцовский дом.

И всё же она колебалась; но вдруг ее на нее снизошел великий покой. Она вгляделась в сумерки; затем, войдя в комнату и услышав звук падения на балконе, она двинулась по коридору и беспрепятственно прошла мимо сидевшего на корточках у стены охранника.

Только что стемнело, она пошла вдоль стен домов. Но у монастыря свернула в китайский район. Всё население было на улице. Когда она проходила по улицам Макао, ее повсюду почти приветствовали и непочтительно взирали на нее. Здесь же никто не обращал на нее внимания. Теперь на ней были одежды, из-за которых отец разгневался бы ужаснее, нежели из-за платья Вероники. Они напомнили бы ему что он, португалец, был женат на китайке. Но она чувствовала себя свободно в широких шелковых брюках, жакете, с начесанной на лоб челкой. В узких улицах стоял гвалт, но он действовал на нее успокаивающе, подобно шуму моря; это было отрадно после тишины домашней ловушки. В толпе, во тьме, проницаемой горящими смоляными факелами, среди промозглых нависающих домов, она чувствовала себя в безопасности, она была своей. Она пришла к няне, которую не видела десять лет; теперь той было семьдесят; она сделалась еще морщинистой, еще больше постарела. Пилар приняли без удивления, дали ей циновку, и она два дня подряд отсыпалась. Но оставаться здесь ей было нельзя. И тогда сын ама<sup>45</sup>, который был столь же нем, как утлое суденышко, которым он правил, и миноги, которых он ловил, ночью перевез женщин на другой берег.

Пилар лишь смутно помнилось, что там был заросший сад, деревянный домик, который ее отец, обычно чертыхаясь при этом, называл *quinta*<sup>46</sup>, мост и каменный козырек над морем. Она часто бывала там вдвоем с матерью. Мать сидела на циновке, пила чай, глядела на море и почти не обращала на нее внимания. Иногда ее отец тоже был там, тогда они сидели на стульях, в жарких деревянных стенах, и повсюду были разложены бумаги и документы. В таких случаях мать молчала, лишь глядела на него взором, исполненным сострадания, пока он не поднимался и не уходил в сад. Мать ложилась на циновку, Кампуш бродил по саду, рубил ветки и топтал цветы. Потом он напивался.

Для всех наступал счастливый момент, когда приходила шлюпка, чтобы увезти его на тот берег, в город. Иногда им обоим приходилось уезжать с ним; порой мать отказывалась, и Кампуш на руках переносил дочь в шлюпку и усаживал на красивую подушку. Но малышка Пилар визжала и плакала; тогда он спускал ее под козырек, на шатких ножках она переходила назад

---

<sup>45</sup> Ама (*кит.*) – «друг», нянюшка. Так китайцы называли не прислугу или кормилицу, а женщину, помогавшую растить и воспитывать ребенка, «мамку».

<sup>46</sup> Усадьба (*порт.*).

через узкий берег, порой шлепалась в воду, и ама вылавливала ее. Под смех шлюпка, наконец, уплывала, и они оставались в покое.

С двенадцати лет, после смерти матери, они уже никогда более не бывали там, и в жару и в холода оставались в раскаленном или промозглом городе. Кампуш не стремился назад, к покою, к воспоминанию о презрительно-сострадательном взгляде жены, к странному ощущению, охватывавшему его, когда он был один среди зарослей, словно там шептались о нем, словно там он был под прицелом многочисленных глаз. Он предпочитал оставаться там, где был первым: среди своих советников и офицеров, согласных с его словами.

Кампуш больше никогда не упоминал о домике. Возможно, он позабыл о его существовании. В любом случае он не стал бы искать Пилар там, он не смог бы вообразить себе, что она, изнеженная настолько, насколько это возможно в колонии, сможет жить в таком запустении, с годами превратившемся в чащобу.

Отец и сломленный любовник слепо таращились на солидные стены монастыря и представляли себе Пилар, непокорную беглянку, в простой беседе с патерами, прохаживающуюся по галереям. Ронкилью порой преследовало видение Пилар в белой келье, коленопреклоненной перед узкой лежанкой, над которой висело распятие; потом она раздевалась, и декор менялся: Пилар, на коленях перед скамьей, на которой сидел он, меж колен – меч с крестообразной рукоятью. Его разочарованность не могла наколдовать ему действительности: Пилар, блуждающую по тихим аллеям, двигаясь как никогда свободно и грациозно, в таком легком одеянии, в каком он ее никогда еще не видел.

К огромному ее удивлению, деревянный домик не был разграблен, хотя сад одичал и наполовину зарос; предметы и мебель покрывал толстый слой пыли, но на ней не было чужих следов. Ама поведала ей, что жители острова считали домик заброшенным храмом, верили, что дух ее матери блуждает там, и что тут обитают духи: порой им слышатся голоса. Пилар тоже слышала их, но через пару дней она поняла, что это такое: ветер, завывающий в сквозных щелях стен, и твари, незримо гнездившиеся под буйно разросшимися кустами и высокой травой. Были еще звуки, которых она не могла объяснить, но они ее не заботили. Здесь она была счастлива больше, нежели в отцовском доме, над которым всегда, как туча, нависал его яростный гнев, где почти ни дня не проходило без вторгавшихся в него волнений, которые приносила его служба. Рыбак привозил провизию, ама готовила пищу; через день-другой Пилар привыкла к китайской еде, словно никогда в жизни не пробовала ничего иного. Казалось, что с каждым днем она всё больше отдаляется от отца и сближается с матерью.

Осень была не за горами, жара стояла только в полдень. По утрам и вечерам она прогуливалась в прохладных аллеях, одеваясь как ей заблагорассудится. Она не задавалась вопросом, чем всё это может кончиться. Почему это должно кончиться?

В отличие от других женщин, ей границы и направление ее жизни были неясны. Она знала, что китаянку, если только она не обладала каким-либо недостатком, как правило, продавали мужчине, которого она прежде никогда не видела, и всю последующую жизнь ей приходилось угождать ему. Ей никогда не предназначали в мужья никого, кроме Ронкилью. Во всей колонии не было ни одного, кто отвечал бы желанию ее отца, которого она не любила, от которого убежала; других она не знала, следовательно, ей не придется слушаться, у нее не будет детей, и теперь будущее ее существование было так же смутно, как острова и линия берега, которые виднелись вдали: возможно, когда-нибудь она и проплывет вдоль них, но они немногим будут отличаться от привычных.

О португальской земле, откуда были родом ее отец и другие значительные мужчины и доминиканцы, у нее было очень туманное представление. Да, она, конечно, слыхала, что знатные дамы живут там, как сами того пожелают, и у них имеются собственные увеселения; да, что они могут проявить милость к мужчине или заставить его годами томиться, как поже-

лает их сердце или каприз, но она не понимала, как такое возможно. Она не представляла, как можно от таких мужчин, как Ронкилью и ее отец, спастись кроме как бегством, как это сделала она, что где-то достаточно простого отказа, чтобы быть свободным от их посягательств, – в такое она поверить не могла.

Она искала общения с церковью, потому что это было единственное, что существовало помимо маленького грубого общества правящих солдафонов. Если бы в Макао вместо доминиканского ордена не было ничего, кроме комедия дель арте, она непременно устремилась бы туда, и вместо Вероники сыграла бы Женевьеву, Мелибою или Сигизмунду. Отдалившись от всего, она жила теперь в пустоте, в которой европейская женщина пришла бы в отчаяние и через короткое время покончила бы с собой; ей помогала восточная половина крови, время невозмутимо текло мимо нее, ей было безразлично, какое направление возьмет ее земная сущность, тело ее продолжало жить, чувствовало себя хорошо: пища, движения – лучше, нежели прежде; для глаз ее были облака и море, помогавшие ей проводить время, для кожи – прохладная вода, в которую она в любое мгновение могла войти. Всё подвержено изменению: незыблемые скалы, века, спокойное море, так же как падающий лист или бабочка-однодневка, но как и когда она уйдет вместе с ними, она не знала; пока ее телу был дарован подобный покой, душа ее не страдала.

Разумеется, святые отцы беседовали с ней о душе, но она не знала, есть ли у нее душа, ей был известен лишь телесный страх и телесное удовольствие. Она знала, что тело ее обладает частями более нежными и чувствительными, чем другие; она не желала никакой любви, она хотела быть нетронутой. Она с удовольствием глядела на свое отражение в воде, но не прикасалась к себе. Она никогда никого не желала.

Из китайцев она знала, кроме матери и Хао Тинга, которого несколько раз видела на аудиенции, только слуг, из португальцев – только тех, кто властвовали путем насилия или жили молитвой и притворным смирением. Ни те, ни другие не обладали чувствами, способными взволновать ее. Но незнакомцы, царедворцы и поэты и ученые из Лиссабона также оставили бы ее равнодушной. Она не понимала, как из восхищения героями и поэтами может проистекать любовь к ним. То, что можно страдать от неразделенной любви и годами, да, всю жизнь быть из-за этого несчастным, казалось ей более странным, нежели сложные церемонии китайской свадьбы или похорон.

И если бы ей сказали, что в то время как она спокойно и в совершенном одиночестве проживает в заброшенной усадьбе, некий потерпевший кораблекрушение чужестранец скитается по острову, безмолвно страдая оттого, что никто его не понимает, никто не глядит на него и не принимает к себе, она удивилась бы и не почувствовала бы никакого сострадания.

### III

Всё стало иначе, когда она неожиданно увидела его.

Пока Пилар жила в усадьбе, ама с тайным удовлетворением замечала, что она становилась всё более и более китайкой. Волосы, которые она, убегая из дому, начесала на лоб, она оставила в том же виде; она чувствовала себя хорошо только в той одежде, которую ама откладывала для нее; она долго и внимательно подкрашивалась; книг у нее не было, ступни ее, не изуродованные в детстве, были чрезвычайно узкими и маленькими; с ама она обменивалась только несколькими словами о пище и одежде, на ее языке больше не говорила и не пела.

Саму ама она видела редко. Они по очереди несли вахту. Со стороны берега неожиданного нападения случиться не могло, окрестности были покрыты густыми зарослями и окружены скалами, со стороны моря издалека можно было заметить приближающееся судно. В основном они вели наблюдение с крыши дома. Что случится, если сюда явятся искать ее? Был колодец, который скрывала поросль вьющихся растений, она могла бы укрыться там.

Она могла бы убежать с ама в Кантон и окончательно превратиться в китайку, или вверх по Жемчужной реке, разыскать Педру Велью и укрыться под его защитой. Мысли ее постепенно устремлялись в этом направлении.

И тогда она обнаружила в домике чужого, в комнатке, которой не пользовались. В эту ночь она бодрствовала, ибо стояла полная луна, а она в лунные ночи плохо спала; к тому же ей нравилось смотреть на блеск волн в лунном свете, колеблющихся, как стадо морских животных. И она не сразу заметила его.

Сначала она подумала, что он мертв. Он не дышал. Он не походил на людей, которых она знала, но на *Cristo Yacente*<sup>47</sup> с его торчащими ребрами, тонкой заостренной бородкой, мертвенным цветом лица и мучительно искаженными чертами. Но она решила, что он – не кто иной, как беглый узник или дезертир.

Она оставила его лежать, он пока не мог прийти в себя, возможно, никогда не придет. Утром появился немой рыбак, который мог бы перенести его в свой сампан и бросить где-нибудь на пустынном берегу, предоставив смерти, если он уже не был трупом. В этом она не видела никакой жестокости: разве мало было вдоль дорог мертвецов, уже покрытых трупными мухами, которых они уже не могли отогнать? Смерть тоже была ни чем иным, как переходом в другое состояние.

Но утром ей захотелось вновь увидеть его лицо. Теперь у него было наполовину злобное, наполовину пленительное выражение. Он не мог быть таким, как другие. Теперь ей стало любопытно, какие у него глаза. Она сама поставила пищу и воду рядом с ним, чтобы он, очнувшись, мог обнаружить их, и отправила лодочника одного, как ни отговаривала ее ама, указывая на опасности. Она и сама не знала, как поступить с ним: он мог оказаться беглецом, который тоже хотел скрываться и мог помочь им с наблюдением; но он мог и выдать их...

Она остановилась, склонилась над цветком и стала ощипывать листья. Когда она выпрямилась, он стоял рядом, сначала радостно, затем обвиняюще глядя на нее. Затем он нервно заговорил; поток слов, из которых она не поняла и половины: хотя это и были слова языка, на котором говорил ее отец, но звук, фразы, всё было другое. Пилар прикрыла глаза, чтобы слышать только голос, чтобы не видеть потрепанного, изнуренного человека, стоявшего перед ней, выступающие из одеяния руки, налитые кровью глаза, запекшиеся, широко раскрытые губы. Голос был хриплый, но не сорванный, и тон его казался даже презрительным – он говорил обо всем на том берегу в Макао и о тех, кто там правили.

Она продолжала слушать. Голос вновь сделался печальным, обвиняющим и, наконец, поскольку это повторялось, она поняла, что он говорил о ней и обвинял ее.

Это рассердило ее; она громко рассмеялась, отскочила в сторону между кустов и посмотрела на него сквозь листву. Он пошатнулся, попытался вновь найти ее, поднес руку ко лбу, топнул и внезапно повернулся к ней спиной. Он начал спускаться по тропинке, но тщетно; через несколько шагов он стал двигаться медленнее, прислонился к дереву и прижался головой к стволу. Пилар медленно подошла к нему и терпеливо дождалась, когда он поднимет взгляд. Она поступала с ним, как ребенок с раненым животным. Но он продолжал стоять в той же позе. Она хрустела ветками, подталкивала его, смеялась. В конце концов он посмотрел на нее, теперь молча и беспомощно, и всё же по-прежнему в его взгляде были горечь и обвинение.

Когда он вновь заговорил, Пилар опять удивилась; такого тона она никогда еще не слышала: голос ее отца всегда был громким и повелительным, Ронкилью – хвастливым и резким; голоса монахов были слащавы и исполнены святости, словно исходили из говорящих молитвенников. Но внезапно она поняла, что чужестранец поторопился принять ее за другую, похожую на нее, но с иными глазами, вероятно, португальскую женщину. Теперь она попыталась успокоить его, но из-за того, что она говорила на маканском диалекте, она плохо понимал ее.

---

<sup>47</sup> Мертвый Христос (*исп.*).

И всё же он позволил увести себя в комнату, в которой ютился. Она позвала ама, знавшую средство от лихорадки.

На следующее утро он казался спокойнее, и Пилар вновь пошла к нему. Когда она открыла дверь, ей на секунду показалось, что она вернулась в свою комнату, из которой убежала. Она хотела вновь закрыть дверь, но было поздно: он подошел к ней, встал на колени и благодарно взял ее за руку. Он спросил, кто она и, за неимением дома и оружия, предложил ей свою жизнь. Она попросила его сначала сообщить свое имя. Он не назвал себя, но поведал, что он – впавший в немилость португальский дворянин.

– Странный вы рыцарь, который прямо говорит женщине, которой еще и дня не знает, такие вещи о ее лице: что оно было бы так же красиво, как и у его бывшей возлюбленной, будь у него другой разрез глаз. Я не знаю, что вы пережили в Португалии, может быть, рассудок ваш повредился. Я все равно скажу вам, кто я: донна Пилар, дочь прокуратора Макао. Мой отец, поскольку португальские женщины не отваживаются пускаться в такую даль от родины, подыскал себе китайскую невесту. Так что у меня глаза моей матери. Она умерла, и мой отец принуждает меня выйти замуж за человека, который мне не нравится; у меня нет покровителей, кроме доминиканцев, да и тех преследуют. Тогда я бежала сюда, надеясь, что никто не найдет меня здесь. Ама и я по очереди бодрствуем, чтобы нас не застали врасплох грабители. Мы устали; вы можете помочь нам. Я полагаю, вы также боитесь опасности с противоположной стороны; держите глаза открытыми, не думайте о моих глазах, я здесь просто для того, чтобы избежать одного мужчины, и не хочу другого; не сравнивайте меня непрерывно с вашей прежней возлюбленной или мечтой, бдите ночью и укрывайтесь днем в своей комнате, и тогда сможете оставаться.

Камознс остался один, с печалью сознавая, что истина не дает ему никакой надежды. Он не выходил из комнаты, порой испытывая головокружение, словно его существование разлеталось брызгами, чтобы попасть в события, которые не имели связи с этой жизнью. Когда стемнело, вошла ама, сделала ему знак следовать за ней и привела его к стене, где он должен был держать вахту. Старуха поставила рядом с ним вино и фрукты и ушла. Он зорко следил за бухтой; порой мимо скользили паруса, но близко не подходили. В городе было еще темно, только слабо светил маяк. В середине ночи погас и он, но вскоре после этого вспыхнул огонь на том же месте, в темных скалах, и горел всю ночь. На рассвете, прежде чем город стал четко виден, китаянка пришла сменить его.

## IV

Так проходили целые дни и ночи. Порой лунный свет настолько просветлял его мысли, настолько успокаивал, что он брался за перо, но далеко никогда не продвигался, словно Диана и Пилар, каждая со своей стороны, насмешливо и презрительно смотрели на него. Он нес вахту раз двенадцать, луна убывала, и вот наступила ночь, когда ветер переменился и подул со стороны города на остров. Ему показалось, что он слышит шум; костров зажжено не было, но с другой стороны города поднимался широкий столб дыма, постепенно переходящий в пламя. Должен ли он предупредить Пилар? Он подумал, что, возможно, застанет ее с закрытыми глазами; обойдя дом, он увидел слабый свет и распахнул ставни. Пилар лежала раздетая под москитной сеткой, но не спала; она не испугалась его прихода, спокойно встала и набросила плащ.

– Они уже близко?

– Сюда они не придут.

– Отчего же вы побеспокоили меня?

Без дальнейших слов она отправилась с ним на берег. Сначала она ничего не видела; может быть, огонь погас? Камоэнс указал на направление дыма: в этот же момент огонь вспыхнул вновь, заплясали языки пламени. Пилар схватила его за руку.

– Это монастырь. Они изгоняют доминиканцев. Должно быть, это из-за меня. Отправляйтесь на ту сторону и посмотрите, что там происходит.

– И оставить вас без защиты?

– Этой ночью никто не появится, а к утру вы уже вернетесь.

Камоэнс взял сампан, лежавший у стены, и за полтора часа пересек бухту; назад, с попутным ветром, будет быстрее. Он припрятал лодку среди сгрудившихся джонок и запечатлел место в памяти; потом взобрался на причал. Все улицы были пустынные; он шел торопливо, порой теряя направление, но затем снова замечал дым и огонь, поднимающийся над крышами домов.

Монастырь стоял на широкой площади; оба флигеля были охвачены пламенем, средняя часть еще не загорелась. Перед тяжелыми запертыми воротами он увидел кучку земли рядом с ямой – видимо, свежевырытой. Военный отряд теснил толпу китайцев. Среди скорбных воплей, доносящихся из нее, он разобрал призывы к мести и истязаниям. Постепенно из разговоров обступавших его колонистов Камоэнс выяснил, что доминиканцев обвиняли в ритуальном убийстве: в монастырском саду были найдены два детских трупа, в которых опознали детей одного китайского купца. Толпа взывала к мести. Если доминиканцы останутся безнаказанными, с колонией будет покончено. Правительство поставило гарнизон у входов в монастырь; и всё же этой ночью его подожгли, чернь ждала, когда огонь выкурит доминиканцев, чтобы выместить на них злобу. Вопрос был в том, насколько у слабого гарнизона хватит сил, чтобы обуздать толпу.

Камоэнс неосторожно задал несколько вопросов, не подумав о том, что в Макао все португальцы, которых в то время насчитывалось четыре сотни, знают друг друга в лицо, так что он неизбежно привлечет к себе внимание. Его стали расспрашивать, кто его он такой; он не нашелся, что ответить; к счастью, давка спасла его. Огонь теперь перекинулся на центр монастыря, и ворота распахнулись. Солдаты образовали двойную цепь, повернув штыки против напирającego народа; кое-кто из толпы, напорвшись, с руганью свалился на землю; монахи же тем временем спокойно выходили наружу. Последний, высокий человек с развевающимися седыми волосами, принялся было запираť за собой ворота, словно хотел как можно дольше сохранить монастырь, но двое из толпы, прорвавшись сквозь цепь, бросились на него.

– Хочешь сжечь мою дочь? – проревел один, дергая его за руки.

– Ее здесь никогда не было.

– Где же она тогда?

– В безопасности. Господь позаботится о ней.

Солдаты окружили монахов тройным кордоном и повели на площадь, где уже ожидали три китайца в одеяниях главных судей. Приказ Ронкилью: кордон расступился и пропустил приора. Китайские судьи подвергли его короткому допросу. Вновь приказ Ронкилью: солдаты отступили, и китайское войско, окружив монахов, увело их прочь.

Таким образом, прокуратор и Хао Тинг объединились, дабы открыто удовлетворить волю народа, передав монахов из рук португальской власти в руки китайской юстиции. Для сиюминутной безопасности монахов это было наиболее предпочтительным; для сохранности их жизни – сомнительным. Хорошо еще, если умрут без пыток. Но меры Кампуша против своих соотечественников были обоснованны, и китайский народ будет почитать его за суровую справедливость. После всех его несчастий это уже вторая его удачная ночь: оба раза он обезоружил сильного противника, хотя оба раза ожидаемая добыча ускользала от него. Сперва Велью, теперь доминиканцы. Но оба раза он сумел удовлетворить свою жажду мести. Монастырь мед-

ленно догорал. Из окон летели книги и бумаги: спасали библиотеку, ибо Кампуш надеялся отыскать там компрометирующие бумаги или указания о местопребывании Пилар.

Пока он наслаждался зрелищем пожара, Ронкилью, сильно припадая на одну ногу, ворвался в ворота и скрылся в монастыре. Никто не ожидал вновь увидеть его, но, казалось, он был невредим для огня, или же его защитили сапоги и кираса. В тлеющей одежде, распространяя тяжкое зловоние, он вновь предстал перед Кампушем.

– Ее здесь нет. Они сожгли ее.

Толпа постепенно расплзлась по своим трущобам. Задерживаться было опасно, и Камоэнс стал прокрадываться назад, не замечая, что его преследуют. Раздумывая, следует ли ему рассказать Пилар всё, или умолчать о том, что некто из-за нее вошел в горящее здание, он подошел к месту стоянки джонок. Но тех уже не было. Он застыл, уставившись на пустынный рейд, и тут его схватили сзади так, что он не мог оказать сопротивления. Он дал себя увести: он стал покоряться предначертанию о том, что его жизнь отныне будет ни чем иным, как переходом из одной тюрьмы в другую.

## Глава шестая

Осенью 19... я, полубольной и совершенно обездоленный, проживал в комнате на верхнем этаже деревенской корчмы. Если бы не крушение «Трафальгара», я на всю жизнь остался бы тем, кем был: телеграфистом, иными словами – непонятно кем: ни рыба ни мясо, ни морской волк ни сухопутная крыса, ни офицер ни нижний чин. Я не был доволен своим существованием, которое таковым не являлось; чувствуешь себя таким человекообразным грибом, если непрерывно сидишь в промозглой вонючей каюте на расшатанном конторском стуле. Но я примирился с мыслью о том, что так будет до конца моих дней, или до пенсии, на которую даже трезвый бедняк, каковым становишься за годы сидячих скитаний, не сможет жить на земле; разве что в ссылке. Так всё и текло; сутки мои были разделены на вахты – шесть часов порой дремотного, порой напряженного вслушивания, и шесть часов глухого беспокойного сна.

Что касается отдыха и развлечений: долгие ночи сна на берегу – с раннего вечера до позднего утра, и примерно раз в квартал – посещение борделя.

Нет, это было не житье.

Но что такое тогда житье бедного крестьянина в ирландской деревне, где-то между Атлантическим океаном с одной стороны, и болотистыми лугами зеленого острова – с другой?

В этой заброшенной деревушке моя семья и еще две другие образовывали замкнутое сообщество, и в нем я был сам по себе. Чту было у меня, подростка, общего с моими родителями, немногословными, скупыми на ласку, с братом, прирожденным батраком, с моими сестрами, из которых одна шестнадцати лет забеременела от кого-то из другого клана и более с нами не общалась, другая – увядшая и сухопарая молочница, не похожая на женщину, с этой ее мужской походкой и красными кулачищами! Возможно, вернись я через тридцать лет морских скитаний, меня бы приняли и не презирали, как члена семейства черных медуз. Да, именно таково было прозвище нашей семьи и двух других. У всех были черные волосы и глаза, все были невысокие и коренастые.

Мы не были ирландцами. Мы были последними потомками проклятой языческой кельтской расы, жившей тут до Христа, – так говорил викарий. Нет, отпрысками жертв кораблекрушения Армады, – трусов, стало быть, которые не стали сражаться, а бежали, обогнув Шотландию, под парусами больших галеонов, уворачиваясь от преследования яростных английских суденышек, – так говорил учитель.

Итак, предки на этом бесплодном берегу ели чужой хлеб и были рабами у тех, кто сами были крепостными далеких властительных английских помещиков. Некоторым всё же достались жены из тех женщин берегового населения, которых больше никто не хотел, но дети получались в отцов, их презирали и поработали, – низкорослых, чернявых и трусоватых, и так было всегда.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.